SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Евгений Соловьев
  -
  - Введение
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Источники

Евгений Соловьев
Джон Мильтон. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк Евгения Соловьева

С портретом Мильтона, гравированным в Лейпциге Геданом

Введение

Английская Реформация. – Пуритане. – Смиренные и воинствующие. – Беньян и Мильтон.

Английская Реформация была делом короля Генриха VIII и его советников. В ней не было ничего решительного, ничего такого, что могло бы успокоить религиозную тревогу верующих людей XVI века. Английская церковь отказалась от иноземного главы – папы, но немедленно же создала себе другого папу в лице короля. Тот был объявлен блюстителем истины, и уже от него зависело заставить своих подданных верить так или иначе. Не признававший его главою церкви подвергался преследованию и казни. Король, завладевший всеми монастырскими имуществами и неожиданно увидевший миллионы в своих обыкновенно пустых сундуках, принял горячо к сердцу дело Реформации, решился защищать ее, хотя бы для этого пришлось пожертвовать самыми близкими людьми – например, Мором. Но он желал в то же время остаться в тесных пределах реформы и удовлетворился одним отрицанием власти папы, которая оказалась в его руках. Но такое устройство сопровождалось значительными неудобствами. Полумера не удовлетворила никого. Искренние католики, как и искренние протестанты, одинаково шли на эшафот; другие сдерживали свое недовольство лишь благодаря страху перед жестокими наказаниями. Генрих VIII и его советники совершенно упустили из виду, что никакими указами нельзя изменить серьезнейших интересов человеческой жизни. Серьезнейшими интересами человеческой жизни в XVI веке были интересы религии, веры. Сказать англичанину того времени: «Примирись с нашим церковным устройством» – значило то же самое, что сказать англичанину XIX века: «Примирись с тем, что ты – нищий». Религия давала смысл и содержание человеческой жизни. Религиозное чувство было глубоким, религиозные сомнения проникали «до мозга костей» верующих всех стран и наций. Вот, например, одно любопытное признание. «Пусть не забывает никто, – читаем мы, – что я был монахом и отъявленным папистом, до такой степени проникнутым и даже поглощенным доктриною папства, что, если бы мог, готов был или сам убивать, или желать казни тех, кто отвергал хоть на одну йоту повиновение папе. Защищая папу, я не оставался куском холодного льда, как он и ему подобные, которые сделались, как мне казалось, защитниками папы скорее ради своего толстого брюха, чем по убеждению в важности этого предмета. Даже более: мне и до сих пор кажется еще, что они насмехаются над папою,

как истые эпикурейцы. Я же отдавался доктрине всем сердцем, как человек, который страстно боится дня судного и несмотря на то желает спастись, желает этого с трепетом, проникающим до мозга костей» (Лютер).

Подобное настроение было общим среди верующих людей. Можно ли было шутить с такими людьми, приказывать им, во что и как верить? А между тем в Англии дело походило на шутку. Только что явившись на свет божий по королевскому указу, английская церковь немедленно же провозгласила себя учреждением божественным, исходящим из воли Промысла. Это было по меньшей мере дерзко, так как у всех на виду она появилась по воле не Промысла, а Генриха VIII, короля английского, – смертного, во-первых, и, во-вторых, ни в коем случае не лучшего из смертных.

Явились «нонконформисты» – несогласные. При всей своей покорности королю они в делах веры не желали подчиняться какому бы то ни было человеческому решению. Их преследовали, и, как водится, преследование повело лишь к тому, что из десятков стали сотни, а из сотен – тысячи.

«Они, – говорит Маколей, – незадолго перед тем, полагаясь на собственное истолкование священных книг, восстали против католической церкви, сильной незапамятной древностью и общим согласием. Необыкновенным напряжением умственной энергии они свергли иго этого пышного и державного суеверия, и нелепо было ожидать, чтобы они непосредственно после такого освобождения терпеливо подчинялись новой духовной тирании. Давно привыкшие при возношении священниками даров падать ниц, как перед сущим Богом, они научились теперь рассматривать мессу как языческий обряд. Давно привыкшие смотреть на папу как на обладателя ключей земли и неба, они научились считать его зверем, антихристом, человеком греха. Нечего было надеяться, чтобы они непосредственно перенесли на власть-выскочку то благоговение, которое перестали оказывать Ватикану; чтобы они подчинили свое частное суждение авторитету англиканской церкви, основанному на том лишь частном суждении, что они побоятся отщепиться от наставников, которые сами отщепились от папы. Легко понять негодование, какое должны были почувствовать сильные и пытливые умы, гордившиеся новоприобретенной свободой, когда учреждение, которое многими годами было моложе их самих, учреждение, которое на их глазах постепенно получало свою форму от страстей и интересов двора, начало подражать надменной манере Рима».

Особенно тяжелой и невыносимой сделалась жизнь верующих

людей, когда при Карле I Стюарте (1625—1649) архиепископом кентерберийским и примасом Англии стал Лоод. Современным историкам он представляется человеком слабым, рожденным не в добрый час, но не бесчестным: скорее всего, он был просто несчастным педантом; по словам Карлейля, он напоминает «директора колледжа, для которого все в мире исчерпывается формальной стороной, правилами, и который думает, что в них именно жизнь и спасение мира». С такими застывшими, злополучными взглядами Лоод оказался неожиданно во главе не какого-нибудь колледжа, а целой нации, и ему пришлось примирять и регулировать самые запутанные, самые жгучие человеческие интересы! Он думает, что люди должны жить по старинным благопристойным регламентам; мало того – он думает, что все спасение их – в дальнейшем развитии и усовершенствовании этих регламентов. Как человек слабый и в то же время педант, он, стремясь к своей цели, делает страшные усилия, судорожно цепляется за нее, не внимая ни голосу благоразумия, ни чувству сожаления. Он должен добиться своего, – его школьники (вся английская нация!) будут повиноваться установленным правилам колледжа, это главное, и, пока он не достигнет этого, нечего думать о другом. Он – педант, родившийся не в добрый час…

При Лооде преследования за религиозные преступления, вернее отступления от правил колледжа, достигли своего апогея. Шпионы забирались в частные дома, выслушивая и выслеживая; собрания «несогласных» разгонялись, вожаков оппозиции били и мучили на публичных площадях, подвергали пыткам и безжалостному заключению.

Дух воинственного негодования постепенно креп в нации и сконцентрировался наконец в секте *пуритан*.

Редкой секте пришлось играть в истории такую выдающуюся роль. Пуритане учредили в Англии республику и протекторат Кромвеля; они казнили короля, уничтожили палату лордов, создали Соединенное королевство, присоединив Шотландию и Ирландию своим мечом к Англии; они основали Соединенные Штаты Северной Америки; они, наконец, оказали такое влияние на нравственность, семейную и общественную жизнь своих сограждан, что следы этого влияния чувствуются еще и по настоящее время. В чем же заключалась их сила? – спросите вы. История просто и коротко отвечает на этот вопрос: сила пуритан – в их серьезном и даже сурово-серьезном взгляде на жизнь.

Их прозвище происходит от латинского слова «purus», что значит «чистый». Пуритане поэтому – люди, стремящиеся к чистоте духовной и телесной. Грязь, от которой они должны

очиститься, – это грех, как тот, который они могут совершить сами, так и другой, неизмеримо больший, совершенный еще нашими прародителями во время блаженной жизни под райскими кущами. Прародительский грех не знает себе равного: как вечное проклятие, как вечная угроза висит он над людьми. Думая о нем, пуритане чувствовали тот холодный ужас, проникавший до мозга костей, о котором, как мы только что видели, говорит Лютер. Описывая искушение Евы, Мильтон восклицает: «Тогда Ева простерла свою дерзновенную руку и сорвала плод. Она вкусила от него. При этом земля почувствовала сильный удар, сетующая природа подняла плачевный вопль и возвестила, что все погибло…» Когда же и Адам соблазнился примером жены, «земля, терзаемая новой горестью, потряслась в самых недрах своих, природа испустила жалобный вопль, гром глухо зарокотал в мрачных тучах, надвинувшихся на небо, и небо пролило обильные слезы».

Перед громадностью этого греха ничтожны усилия отдельного человека. Сам он спастись не может. Пуритане, как и кальвинисты, верили, что большинство людей преступно до рождения, что Бог желал, предвидел, уготовил их погибель, от вечности предопределил им казнь и создал их затем лишь, чтобы погубить. Спасти злополучное создание может одна благодать, добровольная, чистейшая милость Божия, даруемая им лишь небольшому числу избранных. Остальные же, зачумленные и осужденные от рождения «сыны гнева», сколько бы ни глядели на небо, слышали бы лишь грохот небесного огня, ежеминутно готового их поразить. Многие считали себя осужденными и ходили со стенаниями по улицам, другие потеряли сон. Они вышли из нормального состояния и везде, во всем видели над собою руку Божию или когти дьявола.

И пусть читатель заметит, что когти дьявола не метафора, не словесный образ, что для людей XVII века все эти Молохи, Велиары, Астарты представлялись действительными существами, виновными в погибели бедных смертных. Темные силы без устали носятся вокруг человека, терзают его, вводят во искушение. Вы хотите их видеть? «Для этого надо сильно нажать глаз и, раскрыв его снова, можно заметить бесчисленные золотистые блестки, летающие по воздуху. Это – черти». Мысль о них, о грядущих вечных муках доводила бедных пуритан до уныния и отчаяния. Она свинцовой тучей висела над их сознанием. Могут ли они веселиться, принимать участие в делах и удовольствиях своего века? Лазурь неба не сияет им более, солнце не согревает их, красота природы на них не действует; они разучились смеяться, у них только одна мысль, одна забота: «Помилуют ли меня?

Избранный я или осужденный?» Ведь для осужденного бесполезно даже Причастие! Они томительно всматриваются в невольные движения сердца, которое одно может отвечать, и во внутреннее откровение, которое одно может дать им уверенность в прощении или погибели. Они убеждены, что всякое другое расположение духа – нечестиво, что беззаботность и веселие – чудовищны, что всякое развлечение или забава – дело мирское, языческое, и что истинный христианин, понимая, какая безмерная разница между земной и загробной жизнью, должен вечно трепетать при мысли о спасении. Отсюда в нравы начинают вкрадываться суровость и ригоризм. «Пуританин осуждает театр, собрания и светскую пышность, любезность и изящные манеры, веселые трезвоны колоколов. Он удаляется от забавы, не носит украшений, коротко стрижет волосы, надевает только темное, гладкое платье, говорит в нос, ходит прямо, поднимает то и дело глаза к небу, имеет вид человека, погруженного в себя и равнодушного ко всему окружающему. Натуральный, наружный человек в нем подавлен, а взамен его остался один внутренний, духовный: душа безраздельно наполнена помышлением о Боге и совести – совести больной и тревожной, но строго соблюдающей всякую обязанность, внимательной к малейшей небрежности, возмущающейся против послабления светской нравственности, неистощимой относительно терпения, мужества, жертвы, вводящей целомудрие в семье, правдивость в суде, честность за прилавком, трудолюбие в мастерской, убежденность в общественных делах, всюду – упорную волю, желание скорее все перенести и пострадать, чем позволить себе хотя бы ничтожное исключение от предписаний справедливости или библейского закона. Упорная энергия, безукоризненная честность проснулись при крике восторженного воображения, люди перешли на путь отречения и добродетели».

Тревожная совесть пуритан не была, однако, больной совестью, способной лишь мучить человека бесплодным раскаянием, отнимая в то же время от него всякое желание действовать. Больная совесть гнетет человеческое сердце, парализует лучшие его порывы, превращая всю его жизнь в тяжелую непроглядную тоску. Не то совесть пробудившаяся, познавшая неправду и зло человеческой жизни и решившаяся восстать против них во всеоружии божественного закона. Постоянные преследования, которым подвергались пуритане, выработали в них неукротимую энергию, ожесточение, не признававшее никаких соглашений с врагами, воинственный дух, радостно ликовавший при возможности умереть за дело, представлявшееся им правым. Мало-помалу в тюрьмах, у

позорных столбов, на эшафотах научились они не признавать другой власти, кроме власти Бога, другого руководителя, кроме Священного Писания. Если их учение, противное здоровой человеческой природе, и должно было переродиться в конце концов в ханжество и обрядность, то первоначально оно все же было искренним. И пуритане доказали эту свою искренность, доказали на страшном испытании «огнем и железом», которому то и дело подвергали их.

Из материала религиозной восторженности были созданы пуританские души. Эту восторженность вы одинаково найдете и у Беньяна, современника Мильтона, автора знаменитого «Piligrim's Progress», и у Кромвеля, и у других деятелей эпохи. Но Беньян изобразил лишь одну их сторону: самоуглубление. Все равно как тело творца «Piligrim's Progress» было всю жизнь заключено в узкую темницу, так и дух его не выходил за пределы самоочищения и совершенствования. В нем вы не чувствуете ничего ожесточенного, его гордость поглощена христианской кротостью. Это мученик, но не боец. Но у пуритан была и другая черта – суровая гордость, как называют ее историки. Она появилась не сразу, и, чтобы воспитать ее, нужны были обиды и гонения и безусловное сознание своей правоты. Вечное в пуританизме, его тоскующая душа, его самоуглубление, плач о грехах, страстная жажда спасения, религиозные восторги – все это нашло своего певца в простом меднике. Но пуританизм, вышедший за пределы самоуглубления и самобичевания, восставший с оружием в руках против всего, что представлялось ему злом и неправдой, пуританизм воинствующий, исполненный гордости и непреклонного мужества, нашел себе другого выразителя, сердце которого было одинаково способно и к любви, и к ненависти, и к прощению, и к злобе.

Этим выразителем был Мильтон.

Глава I

Детство. – Семейная обстановка. – Школа Св. Павла. – Университетские годы.

«Джон Мильтон родился в доме своего отца на Бридж-стрит, в лондонском Сити, в пятницу 9 декабря 1608 года в половине шестого утра». Этими словами Массон начинает жизнеописание великого поэта и продолжает его в том же тоне, с тем же неутомимым вниманием ко всем мелочам, с той же точностью до одной минуты, если можно так выразиться. В результате получается громадное шеститомное сочинение в несколько тысяч страниц, где нашли себе место все факты, которые прямо или косвенно могли влиять на развитие характера, убеждений, привычек Мильтона. В этой чисто мозаичной работе, сложенной из миллионов отдельных маленьких камешков, Массон не имел себе равного; благодаря ему мы действительно знаем Мильтона, его настроение в каждое данное время, его друзей и знакомых, его родных до пятого колена, обстановку дома, где он жил, – словом, все, что можно знать, взглянув на жизнь человеческую с ее внешней стороны. Достаточно Мильтону в одном каком-нибудь из своих писем упомянуть имя случайного своего знакомого или просто человека, с которым он перекинулся несколькими словами в дороге, как неутомимое усердие Массона уже настороже, и читатель немедленно же получает все сведения об этом лице, какие можно только собрать в европейских архивах. Словом, с *внешней* стороны нельзя желать ничего лучшего и можно пожаловаться скорее на изобилие, чем на недостаток. То же самое приходится сказать и о внутренней жизни поэта, – и ее мы знаем всю до сокровеннейшей глубины. Сам Мильтон рассказал нам историю своего сердца в своих бесчисленных произведениях, в своих письмах, стихах и прозе, политических и ученых трактатах, драматических пьесах и, наконец, собрал ее, как в фокусе, в лучшем бриллианте своей писательской короны – «Потерянном Рае» («The Paradise lost»). Я не знаю во всем XVII столетии ни одного другого человека, чью жизнь и личность мы могли бы восстановить с такой завидной полнотой, как жизнь и личность Мильтона. Разумеется, в этом виноват прежде всего случай, сохранивший во всей целости и неприкосновенности каждую строку, написанную Мильтоном и о Мильтоне, и несомненно, что это очень редкий счастливый случай. Припомните, в самом деле, какая странная судьба постигла биографию Шекспира, родившегося всего на каких-нибудь 75 лет раньше Мильтона. О Шекспире мы почти ничего не знаем, и еще в настоящее время

идут споры, был ли он на самом деле, не мифическое ли он лицо, как Гомер, или, по крайней мере, не псевдоним ли, под которым скрывали свои творческие произведения королева Елизавета и канцлер Бэкон? Насколько справедливо последнее предположение, для нас теперь не важно; взятое в целом, оно не выдерживает ни малейшей критики; но важен самый факт, что такое мнение могло появиться, держаться десятки лет и не получить ни одного несомненного опровержения. Так или иначе, оно имеет одну несомненную опору в том, что мы действительно не знаем относительно многих пьес, приписываемых Шекспиру, действительно ли они принадлежат ему. С Мильтоном ничего подобного не случилось, а что еще интереснее, ничего подобного и случиться не могло. Попробуйте уловить личность Шекспира в 37 его драмах. Едва ли вам это удастся. То он *как будто* говорит с вами в лице меланхолического Жака, уверяющего вас, что «мир – театр: в нем женщины, мужчины – все актеры»; то шутит с вами в лице циника Фальстафа, которого он наградил всем комизмом своего гениального ума; то вместе с Гамлетом доходит до помешательства перед грозным вопросом «быть или не быть» и чувствует священный ужас перед роковой загадкой смерти и той страной, откуда никто не возвращался. Не то, совершенно не то Мильтон. Вы поразительно быстро привыкаете к нему, его стилю, его нравственным изречениям, его серьезной, немного даже суровой личности, в глубине которой, под двойной оболочкой средневекового ученого и фанатически преданного своим политическим и религиозным убеждениям борца, неумолкаемо бьет ключ самой нежной и возвышенной поэзии. Что, казалось бы, могло быть общего между «Сонетом соловью» («Sonnet to the nightingale») и «Потерянным Раем», на каждой странице которого вы слышите глухие раскаты революционного грома, – а между тем, всмотревшись попристальнее, вы увидите тот же стиль, ту же манеру. В ряду великих английских поэтов, которые непрерывно следовали друг за другом со дня рождения Шекспира по день смерти Мильтона, то есть на протяжении почти 150 лет, вы всегда узнаете Мильтона. Он выделяется между ними, как пуританин своей темной одеждой, опущенными глазами, серьезным лицом выделялся среди разодетых, облитых золотом придворных. Строго говоря, он – единственный великий поэт пуританской Англии, что и кладет на все, вышедшее из-под его пера, резкий и своеобразный отпечаток.

Мильтон происходил из пуританского семейства, где мужество, нравственное благородство, художественные наклонности к поэзии и музыке как будто нарочно собрались вокруг его колыбели, чтобы убаюкивать ребенка высокими и

красноречивыми словами. Мать его – «примерная особа, славившаяся во всем околотке благотворительностью»; отец – серьезный, славный человек, «никогда не знавший отчаяния, разве что в те минуты, когда сомневался в спасении души». Отец Мильтона уже в юности потерпел за убеждения: родные нашли в его комнате английскую Библию, что было великим преступлением в глазах искренних католиков, лишили за это наследства и заставили молодого человека серьезно подумать о будущем. Он занялся адвокатурой, и так удачно, что в скором времени составил себе состояние, приобрел дом в Лондоне, имение и впоследствии мог дать своим детям блестящее образование и даже обеспечить их наследством на всю жизнь. Сухая и беспокойная работа адвоката по гражданским делам давала, однако, отцу Мильтона столько свободного времени, что он мог заниматься и литературой, и музыкой, к которой он чувствовал особенное пристрастие. Свой богатый слух он передал и старшему сыну-поэту, и это обстоятельство не представляется маловажным. Дело в том, что, когда вы читаете стихи Мильтона, вам кажется, что вы присутствуете в протестантском соборе, где, то стихая до едва слышного задумчивого журчания, то возвышаясь до грозных торжественных звуков, неумолкаемо играет орган. Таких стихов, как стихи Мильтона, не мог написать человек без музыкального дара. Он и обладал им в действительности, и впоследствии любил услаждать импровизациями тяжелые минуты своей жизни.

Композитор, причем один из лучших в свое время, и поэт, отец Мильтона особенно заботился, чтобы сын получил широкое и всестороннее литературное образование. В этих занятиях – все тревоги и радости его детства, а потом и юности. «Читатель без труда представит себе этого ребенка, жившего в образованной семье среднего сословия, где стремления были возвышенны, образ жизни регулярен, где перекладывали псалмы на музыку, где писали модные тогда мадригалы в честь Орианы (королевы Елизаветы), где пение, литература, живопись, вся умственная роскошь изящного Возрождения украшали собой серьезную простоту, трудолюбивую честность, глубокое христианское чувство Реформации. Весь гений Мильтона истекает отсюда: он внес блеск Возрождения в серьезный смысл Реформации, великолепие поэзии – в суровую доктрину пуританизма и очутился со своим семейством при слиянии двух цивилизаций, которые сумел примирить». Ниже мы увидим, в чем смысл этого примирения, как добро в поэзии Мильтона стало прекрасным, а прекрасное – добрым, или, лучше сказать, красота стала правдой, а правда – красотой.

До десятилетнего возраста при Мильтоне находился наставник, ученый и пуританин, «коротко обстригший ему волосы» и научивший свободно читать по-латыни; кроме того, Мильтон ходил в школу Св. Павла, бывшую неподалеку от дома, где он жил. Школа Св. Павла, сообщает Массой, была чисто грамматической, то есть предназначенной исключительно для получения классического образования. «Классическая премудрость сообщалась воспитанникам в очень широких размерах. В немного лет успевали они основательно ознакомиться с лучшими поэтами и прозаиками Рима и *получали навык изящно говорить и писать по-латыни».* В меньшей степени изучался и греческий язык. Всем этим Мильтон занимался со страстью.

«Когда я был еще ребенком, – говорит один из выводимых им на сцену персонажей, очень на него похожий, – меня не привлекала никакая детская игра. Все силы моей серьезной души устремлены были на учение и знание, чтобы впоследствии посредством их работать для общего блага. Мне казалось, что я был рожден распространителем великой истины».

Но обучение не ограничивалось классическими языками, хотя они являлись краеугольным камнем. «Когда, – пишет Мильтон в латинской поэме, обращенной к отцу, – благодаря Вашим стараниям и жертвам я получил доступ к красноречию римского языка, прелестям Лациума и высоким словам, достойным языка самого Юпитера, употреблявшимся греками, – Вы посоветовали мне прибавить ко всему этому поэтические цветы, составляющие гордость Галлии; речь, которую новый итальянец (new Italian) испускает из своих безнравственных уст, – *и тайны, высказанные пророками Палестины…»*

Под старость, заметим кстати, Мильтон особенно ценил знание еврейского языка и ежедневно заставлял прочитывать себе главу из еврейской Библии.

16-летним юношей, в феврале 1624 года, Мильтон поступил в Кембридж студентом, как мы сказали бы в настоящее время. Это была роскошь, которой он был обязан своему отцу, не жалевшему денег для воспитания сына. Еще и в настоящее время жизнь английского студента обходится чрезвычайно дорого, и на 1000 рублей «можно в Оксфорде или Кембридже вести лишь самую скромную жизнь». В XVII столетии дело обстояло не лучше, и, не считая карманных денег, составляющих и составлявших всегда безусловную необходимость для юного англичанина, – за содержание Мильтона в университете отцу его ежегодно приходилось вносить 50 фунтов стерлингов, что в наши дни составило бы круглую сумму – 1500—2000 рублей. Однако он

постоянно нуждался и, по собственному признанию, вынужден был жить «with unmost economy» – с величайшей экономией.

Еще и в настоящее время в Кембриджском университете, в коллегии Св. Троицы, можно видеть помещение, где, по преданию, жил Мильтон. Помещение это состоит из двух комнат: одной – в два окна, другой – совсем маленькой коморки, служившей вместо спальни. Здесь-то Мильтону и пришлось прожить более семи лет, без всякого разнообразия, если не считать поездок в Лондон на каникулы.

Всмотримся, однако, поближе в университетскую жизнь Мильтона. В Кембридже господствовали в то далекое время строгие статуты Елизаветы, стремившиеся регулировать жизнь наставников и воспитанников до мельчайших подробностей. Воспитанники должны прилично одеваться, вести скромную и нравственную жизнь и беспрекословно слушаться старших. Это правило стояло, разумеется, во главе всех остальных и сопровождалось различными вариантами применения, где были указаны средства возвращать овцу заблудшую на путь истинный. Выговор как легчайшее наказание практиковался особенно часто; затем следовали денежные штрафы, временное лишение свободы – попросту арест, а в исключительных случаях допускалось и изгнание неисправимого. Были и телесные наказания, но они уже выходили в описываемую эпоху из моды, хотя статуты допускают их для всех студентов не старше 18 лет и состоящих в звании «under graduates» – так сказать, воспитанников приготовительного университетского пансионата. Так как университет сам по себе составлял как бы маленькое государство в государстве, со своей собственной администрацией, своими представителями в парламенте, со специальными законами и обычаями, то и территория его строго была разграничена от территории города Кембриджа, причем статуты требовали, чтобы студенты без крайней необходимости не переходили за пределы университетских владений, рискуя в противном случае подвергнуться денежному взысканию или какой-нибудь другой пене. Распоряжение это было вызвано желанием сохранить студенческие нравы в должной чистоте и благопристойности. День воспитанника был урегулирован следующим образом:

Все должны были вставать в 5 часов утра по звонку колокола и отправляться, не медля ни минуты, в капеллу, где совершалась обедня, не очень, впрочем, продолжительная – около часу. После обедни завтракали в общих коллегиальных залах и затем приступали к научным занятиям. Занятия эти были двух родов: коллегиальные и общеуниверситетские. Первые проходили под руководством туторов-наставников, вторые – профессоров.

Занятия с профессорами похожи были на наши современные университетские лекции; тутор же играл преимущественно роль преподавателя и репетитора. Он руководил практическими занятиями. Круг предметов в то время не отличался обширностью; на первом плане стояли, конечно, латинский, греческий и еврейский языки, причем от студентов требовалось, чтобы они не ограничивались чтением и письмом на этих языках, но и постоянно упражнялись в разговорах на них. Было даже постановлено, чтобы они и в свободное время, на прогулках, например, не смели говорить между собою иначе, как на одном из древних языков. Кроме латинского, греческого и еврейского, проходились еще логика и философия. Математикой в ту эпоху интересовались настолько мало, что она даже и не входила в круг университетского преподавания и изучалась лишь в низших и средних школах. После четырех – пяти часов занятий по указанным предметам студенты опять собирались в столовой зале, где им предлагался обед. Подкрепив себя таким образом, они возвращались в аудиторию, но уже ненадолго, на один или два часа, и слушали диспуты. Затем время отдавалось в их полное распоряжение с единственным обязательством быть дома не позже девяти часов зимою и десяти летом.

Несмотря, однако, на все строгости устава и на особливую заботливость, проявляемую им о нравственности студентов, – поведение этих последних далеко не отличалось добродетелью. Большинство курили, многие пили, иные чувствовали особое пристрастие к картам, за которыми и проводили целые ночи, и прямо из-за карточного стола отправлялись слушать мессу. Три соседние с университетом таверны постоянно были наполнены посетителями, и многие воспитанники сохранили гораздо больше воспоминаний о кутежах, чем о лекциях профессоров, несмотря на всю их несомненную ученость. Существовали, разумеется, и другие забавы, к которым английское юношество тогда, как и теперь, питало большое пристрастие. Забавы эти заключались, главным образом, в физических упражнениях – верховой езде, катанье на лодке, боксе, игре в мяч. Устраивались всевозможные состязания, во время которых молодежь проявляла «гораздо больше энергии и предприимчивости, чем при философских диспутах». В этом отношении мало что изменилось со времени Мильтона: так, еще очень недавно лучшие английские педагоги признавали, что «наши университеты выпускают прекрасных *боксеров».*

Однако, как ни своеобразна и замкнута была жизнь университета, внешние волнения не могли не влиять на нее. *Вне* шли споры между протестантами и католиками, пуританами и

защитниками англиканской церкви. Эти споры крепли и ожесточались со дня на день, взаимная ненависть и неприязнь едва прятались уже под страхом и принуждением, нетерпеливо ожидая минуты, когда можно будет проявиться с оружием в руках.

Пуританский дух в Кембридже был довольно силен. Встречалось немало студентов, которые старались держать себя даже скромнее, чем того требовал устав, избегали развлечений, все свое время проводили за набожным чтением Библии и «с большим неудовольствием посещали мессу». Впрочем, к мессе большинство молодежи, кроме искренних англикан, относились очень непочтительно, позволяя себе иногда кощунственные выходки. Многие из наставников одинаково не отличались привязанностью к господствующей церкви и не особенно строго наблюдали за религиозным воспитанием юношества, предоставляя каждому право самому следить за своим отношением к Богу и церкви. Вообще Кембридж далеко не был таким оплотом престола и веры, как его собрат – Оксфордский университет, что зависело среди прочего и от того, что в Оксфорде воспитывались главным образом представители аристократии, а в Кембридже – третьего сословия.

В университете Мильтон ни в чем не изменил привычкам, приобретенным в детские годы, усердно занимался весь день и часть ночи, несмотря на то, что его слабые от рождения глаза не выдерживали таких усиленных занятий и постоянно протестовали. Как юноша слишком углубленный в книги, он, разумеется, держался в стороне от товарищей и близко не сходился ни с кем. Его гораздо больше интересовали Цицерон и Софокл, чем бокс или верховая езда. Кабинетные наклонности проявились в нем чрезвычайно рано, а близкие к нему люди скорее поощряли, чем противодействовали им. Из своих комнат он почти никуда не выходил, разве на лекции или на непродолжительную прогулку, предпочитая всему одиночество и размышление. Не похоже, чтобы в университете у него были друзья; в его характере не было ни общительности, ни добродушия; он не умел ладить со всеми, быть занимательным и интересным для всех. Слишком серьезный, он вместе с тем был преисполнен сознанием собственного достоинства и дарований, высоко ставил самого себя, быть может, даже слишком высоко. Науку он любил, но не мог терпеть университета. Всегда отзывался он о нем очень непочтительно, и, вероятно, в эти юношеские годы зародился в нем смелый проект коренного преобразования университетской науки – проект, написанный им лишь в 1644 году. В этом проекте он предлагал обучать учеников

всем наукам, всем искусствам и даже всем добродетелям. «Учитель, – говорит он, – обладающий достаточным талантом и красноречием, мог бы в короткое время развить в своих учениках невероятное мужество и прилежание, вливая в их юные сердца такой обильный и благородный жар, что без сомнения многие из них сделались бы непременно знаменитыми людьми, не имеющими себе равных». Между тем университет отталкивал от себя его гордую, непокладистую натуру, отталкивал легкомыслием своих нравов, своими интригами и сплетнями. Большинство его товарищей вели жизнь рассеянную и, несмотря на строгий устав, усердно потягивали винцо в своих комнатах. Студенты старались отличиться друг перед другом, но не в области науки, а в физических упражнениях, гордились своей силой и ловкостью; наука же оставалась на втором плане. Мильтон почти не принимал участия в их забавах: они были для него чуждыми, не менее чуждыми, чем и официальная университетская наука. Эта последняя отталкивала его от себя своей сухостью и схоластичностью. Дальше комментариев к Аристотелю она не ушла в то время, а эти вечные комментарии едва ли могут удовлетворить живого человека.

Поэтическая деятельность шла между тем своим чередом. Начав с переложения псалмов, Мильтон перешел к сонетам и элегиям, слишком, однако, незначительным, чтобы стоило останавливаться на них. Несомненно, однако, что и в это время под грудой все возраставших знаний, не умирая, струился чистый источник поэтического вдохновения. Научные занятия, анализ не убили в Мильтоне творчества: ученый и поэт уживались в нем мирно и один содействовал славе другого.

Семь долгих лет тянулся университетский курс. За это время Англия вынесла страшную чуму, приветствовала восшествие на престол нового короля, успела разочароваться в нем и мало-помалу собиралась с силами и мужеством, чтобы восстановить свои древние права и преимущества свободной страны.

Глава II

Жизнь в деревне. – Сонеты. – «Комус». – Комус и Фальстаф.

Семь лет университетской науки, комментарии и лекции не только не удовлетворили, а лишь разожгли страсть Мильтона к умственным занятиям. В искреннем восторге восклицает он: «Как счастлив тот, кто не должен трепаться по судам и хлопотать о чужих делах, чьи высокие думы не прерываются ежеминутно мелочными заботами о семье и хозяйстве, кто не напрягает своего остроумия, чтобы вызвать милостивую улыбку своего господина, кто не знает по утрам тоски и болезни после развратной ночи, кто видит перед собой долгую вереницу дней таких же спокойных, как сегодняшний, посвященных любимым занятиям в обществе неизменных и лучших друзей каждого – его книг и рукописей!» В нем была неугасимая жажда любознательности и творчества; обстоятельства жизни сложились так, что редко вызывали его на свет божий из кабинета, где он провел целые годы, и, наверное, самые счастливые годы. Он окончил университет в 1631 году и немедленно уже стал строить план дальнейших работ. Он особенно радовался тому, что может уехать теперь в имение отца и там, «на покое и просторе, среди пения птиц и аромата цветов, вызывать перед собой вечно живые образы древности и упиваться красотой классической музы». В это время ему исполнилось 23 года. Отец, по-видимому, задумывал женить его, но самому Мильтону даже и не приходила в голову подобная мысль. Матримониальные проекты так и остались надолго неосуществленными.

Целых четыре года провел он в деревне. Он любил, по его собственным словам, «слушать жаворонка, который взвивается на высоту и будит своим пением задумчивую ночь до тех пор, пока не встанет полосатая заря; земледельца, посвистывающего над своей бороздой; молочницу, распевающую от чистого сердца; косца, натачивающего косу в долине под боярышником; любил смотреть на майские пляски и увеселения в деревне, любоваться пышными процессиями и жужжанием снующей, деловой толпы в украшенных башнями городах», куда, кстати сказать, он изредка наезжал.

В нем – англичанине, к тому же поэте – была искренняя, здоровая любовь к природе, к деревенской жизни. Ничто не представлялось ему более прекрасным и возвышенным, чем гроза с громом и молнией, разразившаяся над уставшими от летнего зноя полями, утренняя заря, распускающая на небе свои огненно-пурпурные лепестки, закат и восход солнца. Религиозное чувство

создавало из этих обычных явлений будущие образы «Потерянного Рая»; то грозно негодующее, то бесконечно кроткое смотрело на Мильтона Божество «в своей царственной одежде, усеянной звездами». Он находил поэзию как в бурных, так и в самых обычных явлениях земли и неба, и годы, проведенные в деревне, всегда называл счастливейшими в своей жизни.

Гортон, где он жил, был прелестным местечком. Расположенный на холме, на берегу веселой речки, окруженный рощами и садами, за которыми тянулись поля и бесконечные, вечнозеленые пастбища, он как нельзя лучше отвечал всем требованиям поэтического творчества. Мир и тишина царили в нем, редкие посещения соседей не тревожили хозяев, а лишь развлекали их. Прогулки, рыбная ловля, верховая езда – словом, все обычные удовольствия английского сельского джентльмена средней руки находились в полном распоряжении Мильтона.

Он, повторяю, был доволен.

Надо, впрочем, заметить, что избранный им для себя способ жизни является далеко не обычным. По английским понятиям, молодой, здоровый человек двадцати с небольшим лет не должен был жить так. Требовались определенные занятия и заработок и как венец человеческих усилий – счастье семейного очага в собственном доме с женою и детьми. Но Мильтон не избрал для себя никакой профессии, которая позволила бы ему делать деньги. Он не хотел быть адвокатом, как отец, купцом, как его родственники. Он мечтал и учился и в глазах своих соседей являлся чудаком. Его кабинетных усиленных занятий не видел никто, но все видели его во время прогулок или деревенских развлечений. Про ленивого сына м-ра Мильтона-старшего шли по всему округу не особенно лестные толки, но, так как м-р Мильтон-младший, будущий великий поэт, не обращал на эти толки ни малейшего внимания, то они и прекратились в скором времени. Что же поддерживало и вдохновляло нашего героя, что позволило ему отступить от обычной тропы и идти по своей собственной, не обращая внимания на окружающее? Отец, как мы видели, горячо его любил и предоставил ему возможность жить как заблагорассудится; Мильтон мог не думать о средствах не только на завтрашний день, но и вообще на будущее. Однако не в этом заключалась главная причина его необычного образа жизни. Главная причина лежала не вне человека, а внутри его, не в деньгах, получаемых от отца, а в вере в свое призвание *поэта.* В этом – вся суть, в этом – руководящая нить для понимания всей жизни Мильтона. Он рано, еще в университете, угадал свое назначение и без устали служил ему вплоть до могилы. Он не хотел сделаться адвокатом, потому что знал, что будет плохим

законником и великим поэтом; впоследствии, оставив сонеты и поэмы ради политических памфлетов, он все же не забыл о главном своем призвании и издал первый сборник своих произведений, закончив его словами: «baccare frontem cingite ne vato noceat mala lingua future» («обвейте голову священной повязкой и молчите, чтобы будущему пророку не повредило неблагоприятное слово»).

Вера в свое великое назначение наполняла сердце Мильтона гордостью, но это же назначение налагало на него обязательства, выполнить которые было бы не под силу обыкновенному смертному. В глазах Мильтона, поэт – жрец и пророк, творчество – священнодействие. Все равно как нельзя приступать к совершению таинства с грязными и мелкими помыслами в душе, так нельзя творить, не чувствуя в себе беспредельного, мощного стремления к истине, не сознавая себя выше всего земного. Вечное и безусловное (Божество и Добродетель) – вот она, истинная область поэзии, ее святая святых, куда можно войти лишь после поста и молитвы, усиленного искуса. Лишь из высокой души, пренебрегающей обычными наслаждениями чувственности и тщеславия, проистекают высокие мысли, лишь благородный дух способен создать благородные и прекрасные вещи. *Нельзя отделять поэта от человека.* Только великий и мужественный человек может быть великим и мужественным поэтом. Поэзия – не развлечение, не игра взволнованного духа, – она требует высшей духовности, высшего самоотречения. Творчество – подвиг, подобный тем, которые совершались древними пророками для спасения своего народа.

Так смотрел Мильтон на поэзию.

В его представлении образы поэта и древне-библейского пророка были тождественны. Сознавая в себе творческую могучую силу, он не только не торопился приступать к деятельности, а, напротив, откладывал, и на возможно отдаленный срок, на годы и даже на десятки лет растягивая тяжелый период искуса. Он не ошибся: вещь, прославившая его во веки веков, сделавшая его имя гордостью Англии и человечества, была создана им лишь под старость. Мильтон написал «Потерянный Рай» шестидесятилетним стариком.

Поэт служит истине. Он не должен, он не смеет отвлекаться от этой высокой задачи, гоняясь за внешней красотой и блестящими эффектами: «Лучезарная богиня» – Истина – его единственная муза, наполняющая душу его непреоборимым мужеством. Смерть за свою веру – венец поэта, его право на вечную жизнь.

Поэт не может не быть гражданином. Его вера – не

отвлеченное признание, не мечта взволнованного воображения. Он служит ей своим творчеством, своими поступками, всей своей жизнью, наконец. Он, гордый и сильный, встанет на ее защиту, если увидит ее в грязи и унижении. Могучими проклятиями наградит он своих врагов, наведет на них клеймо позора, сделает имя их презренным для будущих веков. Он не должен таить в себе ни гнева, ни ненависти; как пророк, должен он являться перед толпой, не зная и не думая о том, что та сделает с ним, осыплет ли его камнями или пойдет за ним туда, где светит неугасимая истина, где живет лучезарная богиня!

Понятно теперь, что он не стал ни купцом, ни адвокатом и с презрением слушал толки о своем безделье, которого и не было на самом деле.

Он работал с упорством гения, не падая духом, не спеша, твердо веруя, что обетованная страна откроется ему рано или поздно, сияющая, радостная, способная утолить голод и жажду. Ни разу не возвел он себе медного змея и не поклонялся ему. Гордо и смело шел он вперед, не ища поддержки ни в ком, не требуя поощрений и аплодисментов.

Он верил в себя.

Жажда знания влекла его к самым разнообразным занятиям. Он изучал историю, литературу и богословие. Он читал и перечитывал древних авторов; но главная работа духа была устремлена на собственное совершенствование. «Не, – пишет он, – who would not be frustated in his hope to write here after in laudable things ought himself to be a true poem», то есть «тот, кто не хочет разочарования в своей надежде создать вещь, достойную славы, должен сам быть истинной поэмой»! Таково знамя, которое он избрал для себя. Мужественно бился он под ним всю жизнь, ни разу не выронив его из своих рук.

Не буду перечислять всего написанного Мильтоном за время его деревенского уединения. Позволю себе только изложить содержание почти неизвестного у нас его драматического произведения «Комус» – произведения, которое многие, например наш Пушкин, предпочитают даже «Раю».

При изложении я буду держаться Тэна и Массона.

Содержание «Комуса» следующее: спустившийся на землю среди дремучих лесов Дух-покровитель (The Attendant Spirit) произносит следующую оду: «Моя отчизна там, у звездного порога дворца Зевса. Я живу среди бессмертных образов, эфирных духов, которые пребывают, лучезарные, в ясных сферах безмятежного и чистого воздуха, высоко-высоко над копотью и суетою темного закоулка, называемого у людей землею, – этого грязного стойла, где, сбившись в кучу и замкнувшись в круг своих

низких помыслов, люди борются за сохранение хрупкой жизни и напрягают все силы в лихорадочной борьбе. Они забыли венец, которым после различных превратностей добродетель награждает своих верных слуг, приведя их перед лица богов, восседающих на священных престолах».

Разумеется, этот монолог написан стихами – и какими стихами! – могучими, плавными, как течение громадной реки, свободно катящей свои воды среди мягких берегов. Зритель переносится за пределы действительного мира: мифология древних и христианство одинаково дали материал для фантазии Мильтона.

Дух оставил свои небесные чертоги, чтобы защитить на земле тех, кто не забыл еще о добродетели, но может утерять бодрость, окруженный врагами и соблазнами. Ведь здесь, в лесу, живет сын волшебницы Цирцеи, сладострастный Комус, бог возмущенной плоти и невоздержанности, удалившийся сюда, в эти лесные трущобы, чтобы свободно предаваться своим разнузданным оргиям. В тот час, когда озера и моря с чешуйчатыми стадами своих обитателей водят вокруг луны волнистые хороводы, меж тем как на песке и потемневших уступах прыгают проворные феи и суетливые карлики, Комус пляшет и потрясает факелами среди вопля и криков своей свиты. Вся эта свита набрана им самим из людей, которых он опоил волшебным напитком сладострастия, и они стали зверями. Но вернемся к рассказу.

Дух-покровитель спустился на землю, а в это время по извилистым тропинкам нахмурившегося леса, где колеблющаяся почва грозит заблудившемуся путнику, бродит благородная дама, потерявшая из виду двух своих братьев. Издали слышит она дикие крики Комуса, рев его свиты, и ужас овладевает ею. Она становится на колени и среди туманных очертаний, проносящихся по бледному ночному небу, видит белокурую Надежду, яснооку (pure-eyed) Веру и Непорочность – таинственных небесных стражей, бодрствующих над ее жизнью и честью.

«Добро пожаловать, о яснооkая Вера, белорукая (white-handed) Надежда! – воскликнула дама. – Ты, ангел, летающий над моей головой, осеняя меня золотыми крыльями; добро пожаловать и ты, святая, незапятнанная Непорочность. Я вижу ясно вас и верю теперь, что верховное благо терпит злых тварей лишь для того, чтобы они были покорными орудиями его справедливого мщения, а для охранения моей жизни и чести пошлет светлого ангела, раз это будет нужно…»

Вдали в эту минуту она различает свет. То «горное облако повернулось к ночи своими серебряными краями и льет свет

между густою тенью листьев». Обрадованная светом, благородная дама зовет своих братьев. Нежный и торжественный звук ее сильного голоса поднимается, как чистые, драгоценные благовония, и разносится в ночном воздухе над долинами, которые вышиты узорами из фиалок, и достигает слуха развратного бога, порождая в нем восторженную любовь. Он прибегает, одетый жрецом. Звуки очаровали его, и он говорит:

«Возможно ли, чтобы смертный прах изливал прелесть этих божественных звуков? Нет, в ее груди несомненно живет что-то божественное. Как сладко текут чудные звуки на крыльях молчания под опустевшим сводом ночи! Я слышал часто, как моя мать Цирцея, окруженная наядами, увенчанными цветами, собирая целебные травы и смертоносный яд, увлекала пением своим пленную душу в блаженный Элизий; Сцилла плакала, волны прекращали свой вой и умолкали, внимательно насторожившись, а жестокая Харибда шепотом выражала тихое одобрение… Но такого могущественного и глубокого восторга, такой неги сладкого счастья я не испытывал еще никогда».

Даже в сердце развратного Комуса голос добродетели вызывает какое-то сладкое и вместе с тем могучее ощущение, какого он не испытывал еще никогда. Но все же обманом уводит он благородную даму в свои пышные чертоги, усаживает ее, неподвижную, во дворце за изысканный стол. Он убеждает ее освежиться и глотнуть из бокала, где налит сладчайший напиток, лучший нектар. Но дама отказывается, предчувствуя соблазн. Увлеченный ею и пылая любовью, Комус старается уговорить ее: он знает, что один глоток очарованного напитка даст ему полную власть над ней. Его речь, построенная по всем правилам схоластической логики, отличается, однако, замечательной красотой и шекспировской силой.

«Если бы весь свет, – говорит он, – держался правил умеренности, если бы никто ничего не пил, кроме прозрачной воды, и не надевал бы роскошной одежды, Создатель, разукрасивший землю для счастья и наслаждения, был бы обижен. Разве можно презирать данные им людям богатства, которые неисчерпаемые лежат повсюду. Не мрачными же сторожами земли создал он нас, и зачем нам жить, как пасынкам природы, а не ее возлюбленным детям?»

Но благородная дама сопротивляется, и стих поэта звучит при этом геройским негодованием и клеймит позором предложение искусителя:

«Когда разврат нечистыми взглядами, нескромными движениями и грязным языком, но особенно гнусными и многогрешными делами заражает человека мерзостью до глубины

души, – тогда, умирая от постоянного соприкосновения с ним, душа разлагается, хоронит себя в теле и принимает скотоподобный образ до тех пор, пока не утратит окончательно божественного характера своего первоначального бытия. Так тяжелая и сырая погребальная тень, которую нередко мы видим под сводами склепов, сидит запоздалая подле свежей могилы, точно боится оставить облюбованный ею труп!..»

Комус хочет уже прибегнуть к насилию, – но в эту минуту оба брата дамы с обнаженными мечами и Ангел-хранитель врываются в торжественную залу и разгоняют нечестивую толпу. Комус бежит, захватив с собою магический жезл, а дама остается на месте, хотя и спасенная, но заколдованная. Чтобы избавить ее от чар, вызывают Сабрину, благодетельную наяду. Ангел поет:

«Прекрасная Сабрина! Услышь оттуда, где ты сидишь – под зеркальной холодной прозрачной волной, вплетая лилии в янтарные кудри. Услышь ради спасения дорогой чести, услышь, о богиня серебряного озера, и спаси!..»

Легкая, как воздух, поднимается Сабрина с кораллового ложа, и колесница из бирюзы и изумрудов выносит ее к прибрежным тростникам и высаживает среди сырого ивняка и камышей. Почувствовав прикосновение ее холодной целомудренной руки, дама сходит с заколдованного места, оковавшего ее своими чарами. Она спасена.

Читатель без труда разберется в этой прелестной аллегории. Дремучий лес – это наша человеческая жизнь; Комус – разврат, сладострастие; благородная дама – добродетель. Кто выпьет волшебного напитка, предлагаемого Комусом, тот из человека обращается в зверя, и, к сожалению, такая метаморфоза в жизни слишком часто случается. Но Мильтон верит, что добродетель могущественнее порока, что у нее есть сила для борьбы с соблазном:

Virtue may be assailed, but never hurt
Surprised by unjust force, but nothent railed.

(Можно напасть на добродетель, но смертельно ранить ее нельзя; несправедливая сила может захватить ее врасплох, но не подчинить себе).

Вера в торжество добродетели, торжество необходимое, неминуемое – вот что одушевляло двадцатипятилетнего Мильтона. И в этой вере не было ничего педантичного, деланного, она составляла саму сущность его натуры и свободно выливалась в поэтические образы. Мильтон принадлежал к разряду тех редких натур, для которых добро и красота нераздельны. Целомудренная Сабрина дивно прекрасна, дивно

прекрасна и благородная дама, добродетель, и вы сами затрудняетесь, какой стороне, нравственной или эстетической, отдать предпочтение. Их нельзя даже разъединить, до того тесно слиты они друг с другом. Перед вами как бы лицо Сикстинской Мадонны, в котором любовь – красота, а красота – любовь. Глубокая, безусловная искренность Мильтона так подкупает читателя, что вместе с Тэном он может спросить себя: «Должен ли я отмечать промахи, странности, шаржированные выражения, – наследство Возрождения – философский диспут, проявление резонерства и платонизма? Я не чувствовал этих ошибок. Все изглаживалось перед картиной смеющегося Возрождения, преобразованного суровой философией, и перед чувством высокого, возведенного на алтарь цветов…»

В высшей степени любопытно сравнить «Комуса» с соответствующими характерами Шекспира. Это сравнение как нельзя лучше определяет индивидуальность Мильтона и то новое, что он внес в литературу.

Прежде всего надо заметить, что комический элемент совершенно отсутствует в «Комусе». Ни одной улыбки, остроты или шутки вы не встретите на всем протяжении пьесы. Все строго, серьезно, даже важно. Вы ясно видите, что из глубины дремучего леса Мильтон читает вам нравоучение. Разодетое в блестящую одежду из «цветов и лунного света», нравоучение это не имеет, правда, в себе ничего скучного, но вместе с тем, составляя главное содержание пьесы, делает ее в значительной степени отвлеченной. В ней нет полного воплощения жизни, нет человеческого тела, румянца, смеха и слез, перед вами скорее бесплотные духи, символы Порока и Добродетели, парящие в ночном воздухе. Даже Комус, этот развратный сын Цирцеи и Бахуса, которого, казалось бы, его сладострастное тело должно было особенно тянуть к земле, и тот – лишь тень человека, аллегорическая фигура, выведенная для того, чтобы возбудить благонравное отвращение.

Из такого же материала, как Комус, Шекспир создал своего Фальстафа. «Фальстаф – опорный столб всякого непотребного места, сквернослов, игрок, утаптыватель мостовых, винная бочка, и до того гнусен, что невольно доставляет удовольствие. У него громадное брюхо, красные глаза, пьяная рожа, трясущиеся ноги; он проводит жизнь в таверне, облокотившись на стол, уставленный кружками, или завалившись спать на полу, за занавесью; просыпается он для того, чтобы богохульствовать, врать, хвастать и красть. Фальстаф такой же мошенник, как Панург, имевший 33 способа добывать деньги, из числа которых самый честный был воровство». Более отвратительной фигуры

Мильтон не мог бы себе и представить. Этот кусок мяса вызвал бы в нем одно презрение, но вместе с тем Фальстаф – шекспировский любимец. Шекспир наделяет его таким остроумием и таким комизмом, что вся мерзость Фальстафа совершенно исчезает. Для Шекспира он – «отличнейший малый». В его поступках нет злости, он не имеет другого желания кроме того, чтобы посмеяться и позабавиться. Когда его ругают, он кричит громче всех, – с лихвой отплачивает крупные слова и обиды и никогда не сердится на своих обидчиков. Через минуту он уже сидит вместе с ними в каком-нибудь вертепе и пьет за их здоровье, как добрый приятель и товарищ. У него много пороков, скажете вы. Да, но он выставляет их напоказ так наивно, что ему невольно их прощаешь. «Послушай, Галь, – говорит он принцу, – ты знаешь, что наш праотец Адам и в состоянии невинности не избежал грехопадения. Где же устоять против него бедному Джону Фальстафу в нынешнее развращенное время? Ты видишь, что во мне больше мяса, чем в другом, следовательно, и грехов больше».

Ни к одному из своих действующих лиц Шекспир не выказал так явно своей симпатии, как к этой «винной бочке». Хвастун, пьяница, развратник – благодаря своему веселью, неистощимому остроумию, добродушию умного человека, отсутствию душевной низости, Джон Фальстаф – вне обычных условий презрения и гнева.

Строгий Мильтон должен был почувствовать отвращение к одной фигуре шекспировского героя, к его красным, налитым кровью глазам, его толстому брюху. Что бы сделал он, услышав его богохульства?

Трудно даже подыскать более яркий пример различия двух этих точек зрения на жизнь.

Глава III

Мильтон и революция.

В 1637 году, чтобы закончить свое образование, Мильтон отправился путешествовать по Европе. За два года он объехал Францию, Швейцарию, Италию, – и в этой последней стране пробыл особенно долго. Он посетил всех известных людей того времени, видел Галилея, измученного пытками, и его ненависть к папизму, инквизиции и религиозным преследованиям удесятерилась. В Италии ему пришлось много спорить о католичестве и протестантизме: он не скрывал своих убеждений, хотя и не напрашивался на то, чтобы вступать по их поводу в пререкания. Иезуиты были очень недовольны им за свободу мнений и следили за ним. Самое поучительное, что он вынес из своего путешествия, – это понимание того, как мучителен гнет клерикализма. «Лучшие люди Италии, – пишет он, – убедившись, что со мной можно говорить с полной откровенностью, выражали мне свою зависть, что я родился в свободной стране, где мысль и научное исследование шествуют без ярма. Сами они жаловались на свое положение, выражая свою ненависть и презрение к тиранам». Припомним, что в это время во всей Европе с ужасом и отвращением рассказывали о процессе Галилея – великого старца, брошенного в тюрьму инквизиции и подвергнутого всем истязаниям пытки.

Но я не стану следить за странствованием Мильтона из страны в страну, из города в город. Достаточно заметить, что он не изменил ни в чем своим строгим правилам даже под «влюбленным небом Италии» и только мог сказать впоследствии про себя:

Coelum non animum muto dum trauns mare ferror.

(Переехавши море и увидев другое небо, я остался каким был).

Мильтон вернулся из своего заграничного путешествия раньше, чем предполагал. Ему казалось неприличным оставаться вдали от родины, где «соотечественники и друзья вступили уже в смелую борьбу за свободу». Говоря о борьбе, Мильтон подразумевает лишь борьбу партий, обострившуюся зимой 1638/39 года, и то брожение, которое к этому времени резко проявилось в английском обществе. Недовольные Карлом и его сподвижниками настолько усилились числом и окрепли духом, что пытки и тюрьма перестали страшить их. Дело еще не дошло

до открытого восстания с оружием в руках; старый режим, как бы предчувствуя свою скорую гибель, был еще строже, еще беспощаднее, – но его конвульсивная жестокость говорила каждому прозорливому человеку, что источник жизни исчезает из него.

Однако по возвращении в Англию Мильтону не сразу пришлось вступить в бой. В течение нескольких лет он должен был ограничиваться ролью постороннего зрителя. Поселившись в Лондоне, чтобы быть ближе к месту действия, он снова замкнулся в своем кабинете и предался своим любимым занятиям. Честолюбивая мечта тревожила его в это время; он думал создать для Англии такую же поэму, какие создали для Италии Данте и Тассо, и несомненно, что неясные еще образы «Потерянного Рая» уже возникали в его воображении. Он написал даже несколько строф произведения, которому предстояло на веки веков прославить его имя, – но его гений всегда отличался медлительностью и лишь при особенных обстоятельствах бывал способен достигать высоты. Если поэма и подвигалась вперед, – что, впрочем, мы можем лишь предполагать, – то ничто не предсказывало ей скорого окончания. На создание поэмы Мильтон смотрел как на дело всей жизни и, по его собственным словам, терпеливо ожидал, когда «Бог призовет его и просветит его мысли и сердце».

Жизнь его шла тихо и однообразно. Он ни в чем не изменял своему строгому режиму «избранного поэта», предпочитал уединение обществу, сторонился женщин и, проводя целые дни и ночи в усиленных умственных занятиях, не чувствовал даже потребности в развлечениях. Мысль, что поэт должен хранить свой дар как зеницу ока, работать над ним, воспитывать его, приносить ему в жертву соблазны юности и искушения зрелого возраста, не покидала его ни на минуту. Относясь к своему гению с чувством священного почтения, он, как библейский пророк, заботился лишь о том, чтобы каждую минуту быть достойным своего избрания. Когда наступит день избрания, он не знал, но твердо верил, что такой день настанет.

Революционный дух, охватывавший английское общество все более, стал постепенно завладевать и Мильтоном. Не видно, чтобы Мильтон сам сознавал, что с ним происходит. Я говорил уже, что он жил в уединении, довольствуясь крошечным садиком своего лондонского дома и своим кабинетом, заставленным книгами, и здесь-то зрела в нем мысль о преобразовании человеческой жизни и человеческих отношений, – преобразовании решительном и коренном. Первое проявление этого революционного духа массового брожения и недовольства

всем мы видим в памфлете Мильтона «О воспитании» (1642). Происхождение памфлета не случайно. Взяв к себе в дом двух своих племянников, а затем и еще нескольких учеников, Мильтон задумался над вопросом, к чему это воспитатели делают так много усилий, чтобы превратить человека в глупца и негодяя? Несколько лет педагогической практики выяснили его взгляды; он вспомнил собственный опыт, вынесенный им из Кембриджского университета, и с обычной страстностью, обычной прямолинейностью высказал свои мысли, резкие, непримиримые, не идущие на компромисс ни с чем из существующего. В памфлете он попытался решить, почему дело обучения идет в школах так неуспешно и вызывает в воспитанниках одно отвращение? Мы уже раньше видели, о каком воспитании мечтает Мильтон, – воспитании, которое должно бы захватывать всего человека, а не скользить по поверхности его мозга, и не будем больше возвращаться к этому вопросу. В данном случае меня интересует другое – именно настроение, в котором писался памфлет и формулировались его резкие, прямолинейные мысли. Ведь общество, которое обновляется и ясно сознает все недостатки своей предшествовавшей жизни, необходимо должно обратить внимание на вопросы школы и здесь искать если не корень зла, то, во всяком случае, одно из ответвлений этого корня. Попытка обновить всю жизнь, обновив условия, среди которых подрастает молодое поколение – эти граждане будущего, – настолько естественна, что является необходимой в каждую критическую эпоху. Воспитание, как бы мы на него ни смотрели, представляет собой область, в которой человек сознает себя особенно могущественным. Здесь всегда в его руки попадает сырой материал, из которого, кажется, он может сделать все, что ему угодно, – создать поколение людей бодрых, мужественных, полных веры и стремления или, наоборот, – тупых и угнетенных. Платон путем воспитания мечтал переродить всю Грецию; Руссо хотел создать своих «естественных людей». На той же точке зрения стоит и Мильтон. Безусловная, не признающая никаких сомнений вера во всемогущество воспитания одушевляет его. Как нельзя более простой и удобопонятной представляется ему мысль, что люди, правильно воспитанные, будут добродетельны, сильны волей, господа своих страстей. Он не признает никаких ограничений. Он обращает школу в государственное учреждение, откуда должны выходить мужественные граждане. В резкой формулировке его мыслей уже отразилось зарево пожара, охватившего английское общество. «*Я требую,* – говорит он, – всестороннего и свободного воспитания, получив которое, человек станет способным исполнять справедливо, умно и

мужественно свои частные и общественные обязанности как во время мира, так и на войне».

Эта смелость мысли и веры, это решительное требование, предъявленное школьной рутине и схоластическим традициям, говорит нам о том, как мощно воспрянул дух человека, вновь увидев перед собой обетованную страну. Проект Мильтона ни одной строчкой не напоминает те слишком известные проекты, в которых утомительно и робко подводится смета расходов, нужных на «ремонт» общественной жизни: столько-то на подпорки, столько-то на подкрашивание, столько-то на положение заплат. Проект Мильтона – утопия, как и все проекты, созданные брожением духа; но что бы стало человечество делать без утопий, подобных очаровательному миражу, отражающему всегда хотя и далекое, но все же несомненно существующее прекрасное?

Откуда же такая резкость во взглядах и языке Мильтона? Как он, спокойный кабинетный ученый и поэт, воспевавший пение соловья и величие добродетели, вдруг бросился в драку, начал писать памфлеты вместо звучных стихов и, как увидим ниже, на целых 20 лет расстался со своей величавой мечтой быть Данте и Тассо Англии?

Перед нами поразительный пример того могучего влияния, которое оказывает дух времени на слабых и сильных: он овладевает ими всецело, пробуждает в душе такие чувства, которые раньше прятались в сокровенной глубине, неясные и для самого обладателя. Поэт и гуманист, любитель природы, красноречивый защитник добродетели, но ни в коем случае не сектант и не фанатик, становится органом взбаламученного моря, отдает все свои силы на защиту тех интересов, к которым накануне еще он чувствовал лишь отвлеченную, платоническую привязанность. «Но, – говорит Гизо, – Англия находилась тогда в одном из тех кризисов, когда человек, забывая о своих слабостях и помня лишь о своем значении, одушевляется тем высоким честолюбием, которое заставляет его подчиняться только чистой истине, той безумной гордостью, которая присваивает собственному мнению человека все права истины».

* * *

Здесь не место рассказывать о событиях того времени, достаточно напомнить их.

Английская революция (1641—1661) была в одно и то же время и политической, и религиозной. Вначале, впрочем, никто о

революции и не думал. Большинству были дороги и святы законы, предания, примеры, все былое их отечества; в них находили англичане опору своим требованиям и освящение своим идеям. Они отстаивали свои права во имя великой' хартии и множества королевских постановлений, которыми эти права в течение четырех веков подтверждались то и дело. Знатные бароны и народ, сельские дворяне и городские жители сошлись в 1640 году не затем, чтобы оспаривать друг у друга какие-либо новые приобретения, а затем, чтобы вступить во владение своим общим наследством; они сошлись не затем, чтобы предаваться бесконечным соображениям о правах человека. Они требовали восстановления своих прав как английских граждан, имевших всегда голос в управлении государством. Нарушение же права было очевидно: в течение 11 лет Карл не созывал парламента и управлял страной, как восточный деспот.

Религиозные преобразователи вступали в долгий парламент с требованиями не столь законными: им не понравилась епископальная церковь Англии в том виде, как она была установлена сначала капризным и жестоким произволом Генриха VIII, а потом умным и настойчивым образом действий Елизаветы. Они боялись возвращения к католицизму, к папе и задумали переустроить заново церковь своей родины. В них, этих религиозных преобразователях, гораздо заметнее и жарче был революционный дух, нежели в той партии, которая была занята преимущественно политическими реформами. Но и религиозные реформаторы руководствовались не одними фантазиями своего ума: у них был якорь, за который они держались, был компас, в который они безусловно веровали. *Евангелие* было кодексом для вольностей и прав человека. Правда, они толковали и комментировали его по-своему, – но оно стояло впереди и выше их воли; они чтили его искренне и при всей своей гордости повергались ниц перед этим законом, который был не ими установлен. Но все же, как ни воинственно были настроены религиозные реформаторы, и они не имели даже понятия о том, куда приведет их роковой ход событий, и вначале возлагали все свои надежды на короля. Мысль народа, массы, не шла дальше легального сопротивления и совершенно вверяла себя парламенту. Тот действовал единодушно. Против произвольных налогов и арестов, против военных судов и пыток, против очевидных попыток короля обзавестись постоянным войском поднялись люди самого противоположного направления и характера, вельможи, дворяне и граждане, придворные и непридворные, друзья и недруги существующей церкви, и злоупотребления пали, несправедливости исчезли, как ветхие

стены оставленной крепости рушатся под первыми ударами осаждающих: Страффорд был казнен, архиепископ Лоод брошен в тюрьму.

Казалось бы, можно остановиться на этом. На самом же деле совершен был лишь первый шаг. Как заметил Гизо, «английский народ боялся революции, не хотел ее, с ужасом отворачивался от самого этого слова, и только ход событий затянул роковой узел». Вначале все думали, что они хотят малого; когда это малое было дано, оказалось, что желали большего, и, по мере того как предъявлялись требования на большее, из глубины народа поднимались все более смелые, решительно настроенные слои. Хотя никто этого не замечал, натянутая струна оборвалась уже в 1640 году, и впоследствии никакие попытки связать ее и заставить звучать на прежний лад не удавались. Когда дело реформ было сделано, когда злоупотребления, вызвавшие единодушное неодобрение народа, были исправлены, когда власти, виновные в этих злоупотреблениях, и люди, служившие этим властям орудиями, были уничтожены, сцена переменилась. Возник новый вопрос: как сохранить эти приобретения? Как достигнуть уверенности, что Англия будет всегда управляема по тем принципам и законам, которые она успела восстановить? Политические реформаторы почувствовали затруднение: над ними стоял король, который, уступая им, устраивал против них заговоры. Если королю опять достанется в правлении та власть, какую еще оставляли ему сделанные до сих пор реформы, он станет употреблять ее против реформ и реформаторов. Вокруг них были их союзники, религиозные новаторы, пресвитериане и приверженцы различных сект, которые не довольствовались политическими реформами и, в своей ненависти к существующей церкви, стремились не только потрясти ее иго, но разрушить ее и наложить на нее свое иго. Для спасения своего создания, для спасения самих себя вожди реформ не желали сложить оружие. Если бы они пожелали это сделать, соратники их не позволили бы – потому, что в соратниках говорило уже не политическое благоразумие, а страсть.

Сам Мильтон признает, что всеохватывающее влияние общественного возбуждения отразилось и на нем. Вот его подлинные слова, написанные гораздо позже, но ясно указывающие нам тот путь, по которому скромные деревенские джентльмены – такие, как Кромвель – доходили до престола, а поэты-мечтатели – до политических памфлетов и ожесточенной борьбы на политической арене.

«Как только, – говорит Мильтон, – после созвания парламента (1641) дозволена была свобода, по крайней мере, свобода слова, –

тотчас же раскрылись все рты против епископов. Побужденный этим, видя, что люди начинают выходить на настоящий путь свободы и, отправившись от этого начала, намерены освободить от рабства всю жизнь человеческую, я хотя и занят был тогда размышлением о других предметах, но решил обратить в эту сторону всю силу и деятельность ума, потому что с юных лет приготовился, прежде всего, не быть невеждою во всем, что относится до законов божеских и человеческих».

* * *

Нам следовало бы теперь рассмотреть политические сочинения Мильтона, но предварительно несколько слов об одном странном и несчастном событии его жизни: в 1643 году, неожиданно для самого себя, тем более неожиданно для всех знавших его, он после короткой поездки в деревню женился на семнадцатилетней девушке Мэри Поуэль, дочери сельского джентльмена Ричарда Поуэля.

Многие биографы прямо или косвенно осуждают этот шаг Мильтона, находя его по меньшей мере неосторожным. С этим трудно не согласиться. Вина Мильтона, разумеется, не в том, что он женился, а в том, что он не задал себе ни малейшего труда ознакомиться со своей будущей женой. Он пришел, увидел и обвенчался. По-видимому, невеста понравилась ему как здоровая девушка, выросшая на свежем деревенском воздухе, спокойная и молчаливая, что он приписал скромности; насчет же душевных качеств он даже не справился. Ниже мы увидим, как он смотрел на женщину, пока же заметим, что его взгляды в этом случае представляли собой смесь английского с библейским. Он требовал от жены, чтобы та была хорошей хозяйкой, покорной супругой, скромной и сдержанной, и только. Посвящать жену в свои интересы и занятия он, как и большинство англичан наших дней, считал совершенно излишним и даже невозможным. Женщина всегда представлялась ему существом низшим, достойным скорее внимания и участия, чем уважения и любви. Ему и в голову не приходило, что семнадцатилетняя девушка решится идти против него.

Однако обстоятельства не оправдали его ожиданий. Всего через какой-нибудь месяц после свадьбы миссис Мильтон заявила мужу, что едет к своим родителям. Пришлось отпустить молодую женщину, тем более, что совместная жизнь была невыносимой. Как и почему – мы можем лишь догадываться и, перечитывая злые строки, посвященные Мильтоном в его памфлете «О разводе»

капризным женщинам, – думать, что и его жена отличалась достаточным своенравием. Так или иначе, но жена уехала и не возвращалась к мужу в течение двух лет, пока дела ее отца не расстроились окончательно.

Не видно, чтобы Мильтон был особенно опечален этим обстоятельством. Всего один только раз потребовал он от жены вернуться к нему – и, когда та отказалась, заявил, что с этой поры он ее не знает. Он вернулся к прежней холостой жизни, с еще большим рвением стал рыться в своих фолиантах, приглушая занятиями голос чувственности, которой до 40 лет не давал ни малейшего простора. Больше, впрочем, ничего не оставалось делать. Разврат и распущенность были органически противны его натуре; он крепко держал себя в руках даже под «влюбленным» небом Италии, даже в юношеские годы; теперь у него было более сил бороться с собой. У него, гордого и мужественного человека, не нашлось ни одного упрека, он не снизошел ни до одной жалобы. Странное средство нашел он, чтобы утешить себя: он написал трактат о разводе – «Doctrine and discipline of Divorce» (1643).

Есть полная вероятность предполагать, что трактат этот был написан Мильтоном в течение медового месяца: немало, значит, было в нем горечи. Причина та, что молодая жена поэта отказалась быть женой на деле. Прибегать к насилию Мильтон счел унизительным для себя и ограничился тем, что весь свой гнев и все свое раздражение вылил в небольшом, но резком памфлете. Далеко не всякий поступил бы так на его месте, и я не знаю более характерного факта из его жизни. Кто в таком случае отказался бы от жалоб сначала, сцен и насилия впоследствии, тем более, что английские законы еще и теперь позволяют мужу обращаться с женой как с вещью? Но Мильтон не поддался искушению и поспешил обобщить свой частный случай. В памфлете он поднимает вопрос о разводе вообще и, минуя все постановления церкви, пытается доказать, что достаточной причиной к разводу может служить простое *несогласие характеров.*

С этой минуты Мильтон счел себя разведенным. Он не писал жене, не справлялся о ней, и, когда та через два года вернулась и бросилась перед ним на колени, он принял ее под свой кров с тем же сознанием собственного величия и превосходства, с каким отпустил ее от себя. Гордый и суровый, он всегда находил в себе силу быть выше обстоятельств, он не позволял им ни разу в течение всей жизни не только сломить его, но даже ввести в минутную слабость.

Раз не удалась семейная жизнь – что печалиться об этом: есть

нечто высшее, есть общество, истина, Бог…

Позволяю себе обратить внимание еще на одну подробность рассказанного эпизода, хотя бы для того только, чтобы оправдать себя за вторжение в тайны семейного очага и даже супружеской спальни.

Для того чтобы получить санкцию на развод, Мильтон не обратился ни к друзьям, ни к обществу, ни к власти. Наперекор всякой традиции, он сам почел себя вполне компетентным судьей в этом деле. По его собственному заявлению, он «счел себя разведенным с той минуты, как жена отказалась вернуться к нему». На что же он опирался? На текст Священного Писания и на собственное мнение. Другой опоры он не искал, а дух времени подсказывал ему, что текста и разума совершенно достаточно даже для важнейших дел жизни человеческой.

На такой способ суждения стоит обратить внимание. Нам не раз еще придется встретиться с ним. Ниже мы увидим, что на нем индепенденты построили свое миросозерцание: и для них достаточно было человеческого «я» и Священного Писания.

Индепенденты в это время еще не появлялись, но Мильтон уже расчищал им дорогу.

Глава IV

Политические памфлеты.

Выделяя политические памфлеты Мильтона в отдельную главу, я хочу этим показать, что придаю им серьезное значение. Это не общая точка зрения. Многие находят, что политическая деятельность Мильтона была лишь эпизодом в его жизни; иные прямо жалеют, что гениальный поэт потратил 20 лет своей жизни на писание трактатов, давно уже утерявших всякий интерес. Отчасти это, разумеется, справедливо. Очень может быть, что, если бы Мильтон вместо того, чтобы кипеть в котле революции, полемизировать с врагами республики и защитниками Стюартов, жил где-нибудь в сельском уединении, оставаясь пассивным зрителем парламентских прений, мужественных битв, ликований и горестей своей родины, число написанных им стихов и поэм было бы значительно больше. В течение 20 лет он на самом деле не написал ни одной строчки, которая обессмертила бы его как поэта: «Комус» создан им до революции, «Потерянный Рай» и «Самсон» – после. 20 лет жизни ушли на то, чтобы сочинить два громадных in-folio, до которых теперь не дотрагивается и один из миллиона читателей. Однако разве не бывает в жизни человека обстоятельств, когда он, забыв о своем назначении поэта, музыканта, ученого, должен прежде всего высказаться как гражданин? Греки понимали это как нельзя лучше.

Мильтон оставил свою поэму и принялся писать трактаты и депеши. Разумеется, ни в трактатах, ни в депешах нет тех чудных образов, которыми наполнены его поэмы. Но неужели не поэма, и, пожалуй, еще более грандиозная поэма, эта жизнь – вернее, 20 лет жизни, отданных на служение общему делу, которое человек признал самым важным, самым святым для себя? Неужели не поэма потерять здоровье, состояние, зрение и воскликнуть в конце концов гордо и мужественно: «Я счастлив, ибо все, что потеряно мною, потеряно в борьбе за правое дело!»

Если «Потерянный Рай» Мильтона не имеет другого героя, кроме героического порыва к справедливости и истине, если «Потерянный Рай» и его мощные звуки действуют на нас с непреоборимой силой через 200 лет, – то лишь потому, что в нем вылилось героическое сердце и героическая жизнь. Не будь этих двадцати бурных лет – не было бы и «Потерянного Рая». Не будем, поэтому, жалеть о звучных стихах; и кроме написанных поэм, есть еще много других, ненаписанных: это поэмы жизни, действия, борьбы, – и последние не менее поучительны.

Даже и теперь еще нескучно и небесполезно читать

политические трактаты Мильтона, хотя, конечно, не все. Лишь на первых порах отталкивают от себя громадные схоластически построенные периоды, грубая полемика, переходящая часто в брань, неуклюжие остроты, напоминающие пируэты слонов. Ничего изящного, красивого и элегантного, зато повсюду сила ненависти и сила убеждения: это – готический стиль без всякой примеси Возрождения. Тяжелые каменные своды идут высоко к небу и гнетут землю; везде торжественный мрак, но удары громадного колокола, подвешенного наверху, наполняют своды своими мощными, тяжелыми звуками, говоря человеку о вечном проклятии за неправду, о вечном спасении за истину и справедливость.

Уже в 1641 году Мильтон написал трактат «О Реформации в Англии и причинах, которые до сей поры задерживали ее» («On Reformation in England and the causes that hither to have hindered it»), где презрительно и высокомерно опровергал епископство и его защитников. Но борьба с епископами была только началом. Она послужила как бы знаменем, под которым могли собраться все недовольные настоящим, все стремившиеся к преобразованиям. Вопрос о епископах был лишь первым вопросом, из-за которого возникали уже сотни.

В своем трактате Мильтон выражается очень решительно. Для него не существует никаких затруднений. Он настаивает, что необходимо «с корнем» истребить епископство, без остатка, сию же минуту; требует немедленного введения пресвитерианского культа. Это для него заповедь Божия, настаивать на этом – долг всякого благочестивого человека. Шутить с Богом нельзя; медлить в делах веры – преступно. Новое церковное устройство поведет за собою всеобщее согласие, кротость, свободу, набожность и все добродетели вообще. Мильтон обращается к королю и убеждает его не страшиться реформы: она лишь упрочит его власть. «Двадцать тысяч демократических собраний, – говорит он, – станут оберегать короля от всяких покушений на его право».

Революция начинается. Вы уже предчувствуете ее в этом решительном тоне, в этой наклонности рассуждать, не видя и не желая видеть вокруг себя никаких препятствий. В содержании трактата ничего страшного нет, но страшен его тон, непримиримый, резкий, высокомерный. Человек считает, что все возможно, все доступно, раз разум доказал, что оно истинно. Истина *должна* осуществиться, и какие же тут могут быть колебания?

Уже в трактате «О Реформации» виден автор «Потерянного Рая». Ненависть к католической церкви доводит его до дерзких и

даже свирепых выходок. «Прелаты, – пишет он, – выбравшиеся из низкой и плебейской жизни и попавшие сразу в гордые баре и обладатели пышных дворцов, великолепной меблировки, утонченного стола, княжеской свиты, рассудили, что простая и голая истина евангельская недостойна более находиться в сообществе их вельможностей, если только бедная и неимущая мадонна не приоденется получше: они обвили непристойными косами ее целомудренное и скромное чело, которое окружено было небесным сиянием, украсили ее ослепительным и пышным нарядом». Эти люди не заслуживают снисхождения: они изменили Богу. С пламенной молитвой обращается к Нему Мильтон: «О Ты, Который восседаешь в недосягаемой славе и могуществе, отец ангелов и людей! и Ты, царь всемогущий, искупитель заблудшего стада, природу которого на Себя принял, – Ты, невыразимая и бессмертная любовь! наконец, Ты, третья сущность божественной бесконечности, Дух-просветитель, радость и утешение всякого существа! воззри на несчастную, доведенную до последней крайности, до последнего издыхания церковь! Не дозволяй им (т. е. епископам) окружить нас еще раз мрачным облаком адской тьмы, через которое до нас не достигает более солнца Твоей истины, где мы утрачиваем навсегда возможность утешения и никогда не услышим пения птиц Твоего утра!.. Явись же нам, о Ты, держащий семь звезд в деснице Твоей, утверди избранных пастырей Твоих, согласно их чину и древнему обряду, чтобы они могли совершать богослужение перед очами Твоими».

Мильтон, как и его современники, глубоко верит, что все совершавшееся перед ним – дело рук Божиих. Эта мысль наполняет его гордостью и веселием, дает его убеждению неотразимую силу. Всякий вопрос он доводит до конца, до его первоисточника – Евангелия. Оттуда он черпает свои сильнейшие аргументы. Страстная вера не позволяет ему сомневаться ни в чем; он с восторгом приветствует падение врагов, пишет торжественные сонеты в честь Кромвеля и его армии. Перебирая постепенно в своем уме все вопросы общественной и семейной жизни, он становится республиканцем так же просто и естественно, как стали республиканцами все решительные люди его времени.

С епископальным устройством Мильтон боролся до той поры, пока оно не было уничтожено. В этой борьбе он отточил свою логику и полемические приемы. Наконец, не стало епископов, – но оставалась еще масса других вопросов, требовавших, чтобы их рассмотрели с той же индивидуалистической точки зрения. Этим Мильтон и занялся. С удивительной энергией выпускал он один

памфлет за другим. Возражения и нападки только удесятеряют его силу. Как человек борьбы, он не знает сострадания и добродушия, он – фанатик своих убеждений.

Чем же вдохновлялся Мильтон? Только одним – свободой. Этот несколько отвлеченный для нас принцип был полон общепонятного значения для людей XVII века. Слово «свобода» не было пустым звуком. Оно заключало в себе понятие *гражданской* свободы парламента как возможности для каждого говорить, проповедовать и печатать сообразно со своими убеждениями, – и свободы *религиозной* как терпимости к различным вероисповеданиям и права каждого верить, руководствуясь своим разумом и Священным Писанием. На защиту этой-то свободы Мильтон истратил 20 лет жизни.

Но зачем следить за всем, что вышло из-под его пера? Позволю себе остановиться лишь на одном трактате, носящем название «Areopagitica for the Liberty of unlicensed Printing». Трактат написан в форме речи, обращенной к парламенту. Мильтон с обычной прямолинейностью защищает здесь «неограниченную свободу печатания». Не обращая внимания ни на какие соображения государственного характера, он говорит, что «убить человека – преступление не большее, чем убить хорошую книгу» («as good almost kill a mean as kill a good book»). Разумеется, мы с этим согласиться не можем, но дело не в нашем согласии, а в точке зрения Мильтона. Всякую цензуру он считает инквизицией и с иронией замечает, что история человечества не знает примера, когда бы книга стала лучше оттого, что на первой ее странице напечатано «imprimatur» (дозволено цензурой). Сравнение цензуры с инквизицией наводит его на воспоминания из личной жизни. Языком, поразительным по своему благородству, он рассказывает о своем свидании с Галилеем в Италии – этим гением, измученным пытками, этим слепым героем человечества с красными рубцами и пятнами на теле, изорванном раскаленным железом. Это место, где читатель на самом деле имеет перед собой «благородный голос страсти», производит особенно сильное впечатление. И вообще весь трактат не утерял ни силы, ни интереса еще и в наши дни, и Милль, например, прямо утверждает, что лучшая защита свободы печати принадлежит Мильтону.

Разумеется, «Areopagitica» не оказала ни малейшего влияния на законодательства своего времени. Свобода печати считается вещью настолько страшной, что в конце XIX века мы видим, как стараются ограничить ее просвещеннейшие страны Европы. Чего же можно было ждать 200 лет тому назад, особенно от парламента, переполненного пресвитерианскими ханжами?

Такое невнимание к его мнению несомненно обидело Мильтона. Постепенно пришлось ему убедиться, что пресвитериане, начавшие борьбу с королем и уничтожившие епископство, не желают идти дальше, да и не знают, куда идти. Другой партии – партии индепендентов – стали вскоре принадлежать симпатии поэта. Легко понять, почему.

«Только индепенденты – независимые – исповедовали учение простое, строгое на вид, которое освящало все их действия, отвечая всем потребностям их положения; это учение избавляло твердый ум от противоречий, набожное сердце – от притворства. Они первые начали произносить некоторые из тех сильных выражений, которые, в каком бы смысле их ни принимали, возбуждают, именем благороднейших надежд, самые энергические страсти человечества: равенство прав, справедливое распределение общественных благ, уничтожение всех злоупотреблений. У них не было разногласия между религиозной и политической системой, не было тайной борьбы между вождями и ратниками, не было исключительных постановлений и строгих разграничений, которые бы затрудняли доступ в их партию; подобно секте, имя которой они приняли, они признавали за основное правило свободу совести, а необъятность преобразований, ими замышляемых, и беспредельная неизвестность их намерений позволяли самым разнородным личностям становиться под их знамена. К ним присоединялись юристы, в надежде отнять у своих соперников, духовных, всю судебную власть и все господство; народные публицисты ожидали от них нового законодательства, ясного и простого, которое бы лишило юристов их огромных доходов и силы. Гаррингтон, присоединяясь к этой партии, мог мечтать о республике мудрецов, Сидней – о свободе Спарты и Рима, Лильборн – о восстановлении древних саксонских законов, Гаррисон – о пришествии Христа и пятой монархии…» (Гизо).

Индепенденты подкупали всех своим уважением к личному мнению человека и той свободой, которую они предоставляли ему. У них не было никаких правил, вернее – все их правила сосредоточивались в одном: Евангелие должно явиться единственным руководством жизни, единственный же руководитель человека в толковании Евангелия – это его разум. Итак, разум и Евангелие – вот камни краеугольные всего миросозерцания. Здесь уже есть всегда подкупающее людей стремление к естественному как противоположности искусственному, есть попытки естественной религии, естественного законодательства и такого государственного устройства, где бы человек мог руководствоваться внутренним

своим содержанием, а не положением. Люди как бы отрешились от традиции и влияния прошлого, они не хотят признавать ничего, что несогласно с их разумом. Мильтон восстает против обычая и предрассудка; он согласен уважать лишь ту религиозность, которая исходит из глубины сердца; он считает еретиком всякого, верующего с чужих слов; он защищает развод, считая его разумным и согласным с Евангелием; ему нужна свобода совести, свобода мысли и слова. Если он восторгается Кромвелем, пишет в честь его сонеты, – то лишь потому, что считает его естественным вождем народа, превосходящим всех своей отвагой, дарованием, способностью осуществлять задуманное.

Но с этим мы познакомимся подробнее ниже.

30 января 1649 года гордая голова Карла Стюарта скатилась на площади против окон королевского дворца. 6 февраля, то есть ровно через неделю, была уничтожена палата лордов. Была провозглашена республика. Революция одержала настолько решительную победу, что сама испугалась ее. Симпатии к умершему королю возрастали со дня на день, его сторонники поторопились причислить его к лику мучеников. Многие мечтали о возвращении на престол сына казненного монарха, Карла II Стюарта, уже провозгласившего себя королем Англии. Но до этого возвращения было еще далеко. Страсти не улеглись, власть находилась в руках армии, вернее – ее генерала, знаменитого Оливера Кромвеля.

Мильтон, чьи симпатии и убеждения и раньше уже склонились на сторону победителей-индепендентов, окончательно перешел в их лагерь. Нарушая правило своей жизни, он поступил даже на службу и в первый же год существования английской республики принял предложенный ему пост секретаря при Государственном совете с обязанностью переводить на латинский и с латинского депеши министерства иностранных дел. Ему назначили прекрасное по тому времени жалованье, не обременяли черной переводной работой и старались приберегать его дарования и знания для более серьезных дел. Ему поручили редакцию полуофициальной газеты «Mercurius Politicus» и борьбу – пером, разумеется, – с врагами республики. Этому новому для него делу Мильтон предался со всей страстностью своей кипучей натуры. Дело заинтересовало его, и он служил ему без колебаний, не думая о будущем, не допуская даже возможности грядущего возмездия. Он не был правой рукой республики, а лишь ее постоянным верным защитником, искренне представлявшим себе положение дела в самых радужных красках. В окружающей его жизни, как на

солнце, он не различал и не хотел различать темных пятен. О чем мечтал он раньше? О свободе. Если не свобода, то по крайней мере форма свободы была дана. Можно было оправдывать насилие и жестокости, совершаемые под республиканским знаменем, переходным и смутным положением дел; можно было надеяться, что при свободных формах вырастет и свободная жизнь. Этого было достаточно для Мильтона, как и для других ему подобных мечтателей-теоретиков, живущих скорее верою в будущее, чем знанием современного положения дел. Торжество и ликование слышны уже в первом трактате Мильтона «Observations». Здесь, хотя он и оправдывает бойню, учиненную армией Кромвеля над несчастными ирландцами, называя этих последних дикарями и варварами, «достойными еще более сурового наказания и мести», но в то же время проповедует религиозную терпимость, в области которой взгляды его значительно расширились. По-прежнему католики ненавистны ему, – но в делах совести даже католик – свой собственный судья. Светский меч должен казнить лишь за светские преступления, сердце человека вне ведения властей.

«Observations» («Замечания») так понравились правительству, что с этой минуты Мильтон был завален работой. Он не отказывался и делал в десять раз больше, чем с него спрашивалось. Один из современников сравнивает его с «быком, раздраженным красным цветом и каленым железом». Как ни грубо такое сравнение, оно справедливо в том смысле, что в борьбе с врагами республики Мильтон проявлял необычайную ярость и набрасывался на каждого, кто решался заподозрить его идеал в недостатках. Открытых же врагов он просто рвал на части.

В 1649 году ему поручили написать возражение на только что появившуюся книгу «Eikon Basilike» («Королевский лик») – произведение, по всей вероятности, апокрифическое, где были описаны последние дни заключения и жизни казненного короля от его собственного лица. Подделка была не только талантливая, но и как нельзя лучше отвечала потребностям времени; в один год разошлось 47 изданий. Личность Карла была выставлена в самом симпатичном свете: перед нами истинный христианин, прекрасный отец семейства, еще лучший отец подданных. Обязанность Мильтона заключалась в том, чтобы разрушить или, по крайней мере, ослабить впечатление, произведенное книгой. Он засел за работу, и через 6 месяцев усидчивого труда был готов его «Иконопласт» – бурное, резкое произведение, где автор не пожалел красок, чтобы очернить ненавистных ему людей.

Так же решительно поступил Мильтон и с книгой

Солмазиуса, выступившего с сочинением «Defensio regia» («Защита короля»). Ответ Мильтона, названный им «Pro populo anglicano defensio» («Защита английского народа»), – я разбирать не буду и ограничусь лишь тем замечанием, что автор стоит на точке зрения народовластия, ежеминутно подкрепляет свои выводы цитатами из Священного Писания и пишет так же, как и его противник, на латинском языке. Гораздо любопытнее тот факт, что, не жалея себя для дела, Мильтон во время работы над защитой потерял свое зрение. Эта потеря не была случайной; ее предвидели уже давно, так как уже с 1638 года зрение Мильтона стало постепенно слабеть. В 1650 году он перестал видеть на один глаз. Доктора прямо *заявили* ему, что он должен оставить книги и письмо, если не хочет совершенно ослепнуть. Он не послушался. «Мне предстоял выбор, – рассказывает он, – или оставить защиту святого дела, или потерять зрение; в этом случае я не мог слушаться докторов, даже если бы сам Эскулап явился ко мне с предостережением; я мог слушаться лишь внутреннего голоса и воли неба. Я рассудил, что люди часто теряют больше, чем зрение, ради достижения ничтожных благ, и решил, что никакие соображения и угрозы не должны удерживать меня от служения общему благу». Мильтону было лишь 43 года, когда он ослеп, и с этой поры его долгая остальная жизнь прошла без наслаждений внешним миром. Свою любовь к природе, свою страсть к чтению, свои кабинетные занятия он принес в жертву обществу и родине, и никогда ни одна жалоба не вырвалась из его гордого сердца.

Слепым Мильтон еще несколько лет продолжал занимать должность «латинского секретаря». Он писал и переводил депеши при республике, писал и переводил их при Кромвеле и при Ричарде, пока Реставрация не выместила на нем своей злобы и не засадила его в темницу.

Как, спрашивают, мог Мильтон, этот ярый защитник народовластия, этот преданнейший слуга республики, перейти на сторону Кромвеля, разогнавшего парламент, уничтожившего республику, заставившего провозгласить себя лордом-протектором Англии и задумавшего дать своей родине династию Кромвелей вместо династии Стюартов? Почему Мильтон, восторгавшийся Кромвелем как генералом парламентских войск, вождем индепендентов и представителем свободы, не отшатнулся от него, когда тот, не осмелившись восстановить титул величества, принял титул высочества, завел по всей стране солдатский режим и вместо свободы провозгласил порядок? Есть такие, которые считают этот факт темным пятном в жизни Мильтона и, не решаясь говорить о душевной низости великого

поэта, говорят о его «слабости».

В биографии Кромвеля я пытался доказать, что смутное состояние страны, измученной десятилетней междоусобной войной, неотвратимо вело к военному деспотизму. Раздор партий, готовых разорвать друг друга на клочки, несмотря на родственные порою цели и стремления, то и дело повторявшиеся заговоры роялистов, общее утомление и общая тоска по тихой жизни после взбаламученного моря сделали на время, по крайней мере, деспотизм необходимым. Республиканцы решительно ничем не доказали своей государственной мудрости; опираясь на армию, они постоянно интриговали против нее, и глухая борьба армии и республики могла привести лишь к одному: Реставрации Стюартов. Гораздо позже Англия оценила полностью, что обещала ей эта Реставрация, и сравнительно с ней деспотизм Кромвеля был меньшим из зол. За ним стояла историческая необходимость – сила, недостаточно оцененная еще людьми, но борьба с которой не дает ничего хорошего. В Англии 50-х годов XVII столетия была республика, но не было республиканцев, за исключением отдельных людей, – была республика, но не было тех экономических и общественных условий, которые единственно могут придать устойчивость этой форме правления. Народ был настроен монархически. Кромвель понимал это и, не желая дать Карлу Стюарту возможность уничтожить одним взмахом пера и несколькими ударами топора все приобретения свободы, – дерзнул и победил. Борьба с ним была невозможна, возможно, было лишь глухое недовольство против него, подпольные заговоры, добровольное удаление от дел. Мильтон перешел на его сторону по той простой причине, что был подготовлен к этому переходу и раньше. Он всегда относился к Кромвелю, как к великому человеку; он не столько ценил республику, сколько свободу, и до конца считал Кромвеля ее защитником. Никаких материальных выгод он не мог ожидать от лорда-протектора: тот не знал его близко и, по-видимому, ценил очень мало. Состояние Мильтона было велико, и жалованье латинского секретаря (200 фунтов стерлингов в год) не являлось для него необходимостью. Он пошел за Кромвелем, как пошли за последним десятки тысяч людей, как идут за гением все, кто способен понять, что перед ними гений, а не чурбан. Ведь всего семь лет спустя Мильтон, еще более одряхлевший, лишенный имущества, без зрения и сидя в темнице, не выразил своего раскаяния перед Карлом Стюартом, не просил его о помиловании. Следовательно, не страх перед жизненными лишениями заставил его встать на сторону Кромвеля, а нечто другое: он видел в Кромвеле героя и гения. Заметим, впрочем, что всем распоряжениям лорда-протектора он

не сочувствовал никогда. Он «почтительнейше» просил его расширить религиозную свободу, предостерегал от восстановления палаты лордов и государственной церкви. Независимость своей совести и убеждений он сохранил до конца дней своих.

Глава V

Реставрация.

3 сентября 1658 года умер Оливер Кромвель, лорд-протектор Англии. Его место занял малоспособный сын его, Ричард Кромвель, о котором история сохранила лишь то воспоминание, что он много-много лет спустя, уже 60-летним стариком, любил показывать своим деревенским друзьям грамоты и бумаги, подписанные им как лордом-протектором, и весело смеялся над своим прошлым величием. Справиться с таким человеком, как Ричард, было легко, и уже в 1660 году роялистам удалось восстановить династию Стюартов. Начались преследования. Мильтону пришлось бежать. Две из его книг были сожжены на площади рукою палача, его самого разыскали и посадили в тюрьму, откуда он был освобожден лишь благодаря заступничеству друзей. С этой поры он оставляет общественную деятельность и возвращается к поэтическому творчеству. Ничего другого, впрочем, ему и нельзя было делать. Он считался опальным, у него отняли большую половину имущества; к счастью, ему оставили жизнь и свободу.

История говорит нам, что, благодаря мягкому, отчасти даже женственному характеру Карла II, Реставрация не отличалась кровожадностью. Свои головы на плахах сложили лишь очень немногие, самые видные из оставшихся в живых революционеров. Карл II терпеть не мог крови и казни; человек добродушный, веселый, он хотел наслаждаться жизнью и любил видеть вокруг себя довольные и счастливые лица. К государственным делам он относился нехотя и невнимательно, – очевидно, не придавая им особенного значения. Окруженный своими любовницами и собутыльниками, он при первой же возможности повел праздную жизнь, распущенную, развратную, но веселую, исполненную развлечений, балов и всевозможных эпизодов, известных в истории под именем «королевских шалостей». Ни в любовницах, ни в друзьях, ни даже в преданных лицах, которых он неотразимо привлекал к себе своей любезной обходительностью, милостивыми шутками, сердечным, хотя и поверхностным, участием, – он никогда не ощущал недостатка. Недостаток ощущался лишь в деньгах, и это постоянно. Карл II охотно заменял жестокие приговоры денежными пенями, что было приятно для его доброго сердца и полезно для его пустых сундуков.

Благодаря влиянию двора жизнь Англии резко изменилась. Вместо строгой, пуританской явилась на сцену другая Англия –

веселая, легкомысленная, распущенная.

Недавнее прошлое, перестав возбуждать ненависть, подверглось легкомысленному осмеянию. Ценились не глубокие познания, а остроумие, не религиозные убеждения, а насмешки над религией. Пуритан, осмеливавшихся выходить на улицу в своих мрачных черных одеждах, сопровождали гиканьем и обидными возгласами, их забрасывали грязью и камнями. В порыве легкомысленной злобы и отвратительного кощунства кости Кромвеля были вырыты из могилы и развеяны по ветру. Новый курс держался правил: «Потоп после нас; будем веселиться».

«The Restoration was a moral catastrophe» – говорят историки («Реставрация была катастрофой нравственности»). На самом деле все низкое, тщеславное, корыстолюбивое, подлое сбросило с себя маску и смело вышло на свет божий. Бороться с этим мутным и грязным потоком недоставало сил у хороших людей. Хорошие люди с разбитыми мечтами и надеждами удалились от дел и издали с сокрушением видели, как вавилонское столпотворение охватывает жизнь, как славная родина продается иностранным государствам, как все святое топчется в грязь. Оставалось молчать и терпеть, примирившись с одиночеством.

Лишенный возможности заниматься политикой, Мильтон всю страсть своей кипучей натуры отдал научным занятиям и поэтическому творчеству. Как только взбаламученное море успокоилось и тина Реставрации покрыла собою общественную жизнь, как только стало очевидным, что обетованная земля если и не навсегда, то, по крайней мере, надолго исчезла опять из глаз людей, – Мильтон вернулся к мечте своей юности – быть Тассо и Данте Англии. Вдохновение забило в нем ключом; он вспомнил свои поэтические сны, свои грезы о рае, свою нежную любовь к природе. Революционные страсти угомонились в нем, и их вулкан покрылся смеющимися зелеными садами и белыми домиками, шаловливо выглядывающими из-за густой листвы. Внизу, на дне кратера, продолжалась работа подземных сил; столбы огня, дыма и пепла то и дело вылетали из кратера, – но на поверхности все было спокойно, все было залито золотыми солнечными лучами. Таким и представляется нам «Потерянный Рай», и эта величайшая религиозная поэма Новой Европы походит на «Ад» Данте силою своей сдержанной страсти, на «Одиссею» Гомера прелестью своих описаний природы, семейного счастья, пышной красотой своих картин и образов.

Но сначала – как жил Мильтон.

Он не покидал Лондона. Ему тяжело было расстаться с городом, вид которого напоминал ему хоть и о разбитых, но

святых мечтах. В его шуме он как будто различал еще клики народа, восторженно приветствовавшего его излюбленного героя Кромвеля. По необходимости, чтобы иметь возле себя хозяйку, он женился в третий раз, так как вторая его жена – этот белокурый ангел, как он называл ее – умерла уже в 1658 году. Женой он был, по-видимому, совершенно доволен. Та, женщина простая, без претензий и немолодая, ходила как нянька за слепым стариком, готовила ему его любимые простые кушанья, не вмешивалась в его научные и литературные занятия, требовала мало любви и мало ласки. Стихи из «Потерянного Рая»:

Nothing lovelier can be found
In woman than to study household good, —

то есть «нет ничего приятнее, как если женщина печется о благосостоянии и порядке дома», – могут, как кажется, быть отнесены на ее счет. Мало кто посещал Мильтона, отчасти как человека опального, отчасти и потому, что в личных контактах он представлял немного интереса. Его характер не был создан ни для любви, ни для дружбы. В нем было что-то жреческое, суровое, что отталкивало от него людей, и, чтобы привязаться к нему, надо было прежде всего заглянуть в глубину его гения, что было под силу далеко не всем. Строгий, без того «маленького ума», который делает такими приятными взаимные отношения людей, ненавидевший шутку и легкомыслие, Мильтон и в лучшие годы своей жизни был обречен на одиночество. На что другое мог он рассчитывать под старость? Даже в собственной семье он держал себя замкнутым, с тем достоинством, которое так хорошо в сенате и так неуместно в детской спальне или в кружке знакомых.

По этому поводу Карлейль совершенно справедливо замечает: «Характер священнический создан для жизни уединенной, ему недостает снисходительности, уступчивости и даже добродушия, которые при обычных столкновениях с людьми дороже гения». Мильтон уже с детства отличается большой серьезностью. Его суровый ум не снисходил до маловажных вещей, и можете себе представить, какими глазами взглянул бы он на жену, когда та пришла бы к нему в кабинет и оторвала от чтения еврейских текстов, чтобы похвастать новым платьем!.. Целые дни проводил он посреди своих лучших друзей, то есть книг и рукописей; остальное же время жил сердцем в высшем отвлеченном мире, куда редкая женщина, и уже никак не его жена, могла иметь доступ. Той оставалось сосредоточить все свое внимание на хозяйстве, что и сделала третья миссис Мильтон. Из глубины того же прошлого до нас доносятся еще слухи о постоянных раздорах

между Мильтоном и его дочерьми, особенно старшей, которая будто бы с нетерпением ожидала его смерти. Трудно сказать, насколько верны эти слухи, и я, во всяком случае, предпочитаю не тревожить ими читателя. В обыденной жизни каждого человека, большого и малого, нетрудно отыскать повод для злословия, – осторожность же в оценке недостатков гения не мешает никогда. Они не виноваты, что рождаются людьми; не всегда могут стоять они холодные и вдохновенные на высоте творчества, земля тянет их к себе, как и нас, грешных. Не запылиться и не запачкаться нельзя и им.

В общем характеризуя последние годы жизни Мильтона, Тэн пишет: «Он жил или в небольшом доме в Лондоне, или в деревне, в графстве Букингемском, напротив высокого зеленого холма, издавал свою „Историю Англии“, логику, трактат „Об истинной религии и ереси“, обдумывал свой обширный трактат „О христианской доктрине“. Из всех утешений самое крепительное и здоровое – работа, так как она облегчает человека не тем, что услаждает его горе, – но тем, что требует известного напряжения. Всякое утро он приказывал читать себе по-еврейски одну главу из Библии и потом сидел несколько времени важный и молчаливый, вдумываясь в прочитанное. Он никогда не ходил в церковь. Независимый в религии, как и во всем остальном, он вполне довольствовался своим внутренним храмом; не находя ни в одной секте признаков истинной церкви, он молился Богу наедине и не имел надобности при этом ни в чьем посредстве. Научные занятия его продолжались до полудня, после чего полагался час отдыха, проводимый в каком-нибудь физическом упражнении, а затем он играл на органе или виолончели. Вскоре после этого он возобновлял свои занятия до шести часов, а по вечерам беседовал со своими приятелями. Приходившие навестить Мильтона обыкновенно заставали его „в комнате, обитой старыми зелеными обоями, сипящим в кресле и одетым весьма чисто в черное платье“. „Цвет лица его был бледен, – говорит один посетитель, – но не мертвенный; руки и ноги поражены были подагрой“; „светло-каштановые волосы разделялись посредине лба и падали по обеим сторонам лица длинными локонами; серые чистые глаза не обнаруживали никаких внешних признаков слепоты“. В молодости Мильтон был удивительный красавец, и его изящные щеки, нежные, как щеки молодой девушки, оставались румяными почти до смерти. „Его манера была приветлива; прямая и мужественная походка свидетельствовала о неустрашимости и твердости“.»

«Все его портреты до сих пор дышат еще чем-то горделивым, величественным; да, без сомнения, немного найдется людей,

которые бы делали столько чести человечеству. Он умер 8 сентября 1674 года 68 лет от роду. Так угасла эта благородная жизнь, светло и спокойно, как заходящее солнце. Среди стольких испытаний ему дарована была небом высокая и чистая радость, поистине достойная его; поэт, скрытый под пуританином, явился снова, явился в неведомом доселе величии, чтобы дать христианству второго, христианского Гомера. Ослепительные мечты его юности и воспоминания зрелого возраста собрались в нем вокруг кальвинистских догматов и видений святого Иоанна, чтобы создать протестантскую эпопею Осуждения и Благодати, и безграничность первобытных горизонтов, пламенное сверкание адской бездны, пышная краса небес – открыли „внутреннему оку“ души неведомые края за пределами картин, утраченных телесными очами».

Глава VI

«Потерянный Рай»

Нам надо ознакомиться теперь с величайшим делом жизни Мильтона – созданием «Потерянного Рая». Раньше было уже упомянуто, что некоторые строфы поэмы были написаны еще в начале сороковых годов. Работу над ней Мильтон возобновил лишь в 1660 году, и вдохновение его забило таким могучим ключом, что все 12 песен были готовы в семь – восемь лет. Разумеется, Мильтон не писал, а диктовал стихи. Обыкновенно это происходило утром при пробуждении, когда 40—50 строк, обдуманные ночью, выливались сразу одной непрерывной струей. Поэту оставалось только сократить их, что он и делал немедленно. В первоначальном своем виде поэма была готова к 1665 году, но публика ознакомилась с нею лишь через пять лет. Можно удивиться, как милостиво отнеслась к ней цензура, настроенная не только консервативно, но и прямо реакционно; однако она не вычеркнула ни одной строчки поэмы и украсила ее своим «imprimatur». Очевидно, «Потерянному Раю», как и самому Мильтону, не придавали особенного значения. Скоро нашелся и издатель. Контракт Мильтона с ним сохранился до наших дней как любопытный исторический документ. Из него мы видим, что за первое издание Мильтон должен был получить 50 рублей, столько же за второе и дальнейшие. Он дожил лишь до второго, следовательно, гонорар Мильтона не превышает 100 рублей золотом. Поэма была встречена холодно.

Такова внешняя история «Потерянного Рая». Переходим к разбору содержания, причем разбор этот я постараюсь сделать с возможной основательностью: предмет вполне заслуживает этого. Поэма, написанная в течение 60-х годов (первое издание в 1670-м), была, очевидно, делом всей жизни, итогом всего опыта, всего пережитого и передуманного поэтом. Несомненно, однако, что события 1641—1661 годов наложили на это произведение особенно резкую своеобразную печать, которую нетрудно отличить на каждой странице. Как ни гениален Мильтон, жизнь, разумеется, руководила им, давала ему материал и образы для поэмы, окрасив ее картины любовью, ненавистью, ожесточением и ужасом и даже политическими страстями, которые то и дело являются перед читателем, хотя и возведенные в высшую степень, безмерные и могучие, как безмерно и могуче все, что выступает на сцену в лучших песнях «Потерянного Рая». Семейные идеалы Мильтона, его политические убеждения, его религиозные восторги, его ненависть к пороку, его преклонение перед

добродетелью, его привязанность к тихой обстановке, «так поощряющей научные наклонности», милосердие христианина и свирепая радость борца, видящего падение врагов, его наклонность к схоластическим словопрениям и громадный поэтический дар – вылились в поэме, этом дивном завещании, оставленном пуританской Англией грядущим поколениям. Это завещание, то спокойное, то торжественное, то пропитанное ненавистью и ожесточением, написано величавой и гордой душой, не желающей уступать ни пяди своих убеждений даже после того, как эти убеждения, опозоренные и осмеянные, валялись в грязи Реставрации, возбуждая пошлые насмешки или грубую злобу. Повторяю, весь Мильтон вылился в своем произведении: он виден за каждой страницей и за каждой страницей видна его бурная жизнь.

Трудно рассчитывать, чтобы «Потерянный Рай» мог найти в настоящее время многочисленных читателей. Одолеть с одинаковым вниманием все его 12 песен – дело очень нелегкое, к которому нужно принудить себя. Для человека XIX века здесь все слишком грандиозно и слишком отвлеченно. Чувства, одушевлявшие поэта пуританской Англии, значительно потускнели; мы не способны с такой легкостью, как он, переноситься с неба на землю, мы видим перед собой лишь поле, усеянное мертвыми костями, а не живые армии, грудью наступавшие друг на друга. Наш вкус требует больше порядка и правильности; быть может, нас оттолкнет и прямолинейность Мильтона, его вера, не знающая никакого сомнения, его ненависть, не допускающая снисхождения и милосердия. Припомните, например, знаменитые описания Вельзевула, Маммона и других военачальников адского войска. Что они для нас? Поэтические образы, более или менее удачно обрисованные, и только. Но не тем, совершенно не тем, были они для Мильтона и его читателей XVII века, которые «верили и видели», – верили, что они ежеминутно подвергаются дьявольским искушениям, и видели этих искусителей так ясно, как мы – близких своих. Тогда интересно и важно было обрисовать каждого из служителей сатаны, и эти фигуры вызывали истинный ужас, невольную дрожь, страх, пронизывавший человека до мозга костей. Также далека от нас и душа «Потерянного Рая», этот страстный интерес самого поэта и людей его времени к загробной судьбе человека. Не всегда люди придавали такое значение вопросам религиозным, как 250 лет тому назад. Исторический интерес поэмы для нас слаб; по необходимости мы приступаем к ней прежде всего как к поэтическому произведению, и нужна большая подготовка и не меньшая сила воображения, чтобы ожили

мертвые кости и перед нами обрисовались фигуры борцов далекого XVII века, канувшего в вечность со своими восторгами и страстями, чтобы никогда оттуда не возвращаться. Естественно, что мы, прежде всего, следим за тем, что прямо дает поэт, то есть за фабулой рассказа, а между тем эта фабула случайна и далеко не составляет сути всего произведения. Как мы сейчас увидим, эта фабула, взятая Мильтоном из Библии, даже мешала самому поэту, который не всегда удачно старался воплотить в ней одушевление своего чувства и не раз жертвовал художественной правдой, чтобы не отступить от буквы Священного Писания. Но, вместе с тем, чтобы понять «Потерянный Рай», надо заглянуть гораздо дальше фабулы, перенестись в бурную эпоху XVII века и постараться вызвать перед собой обстановку того времени с ее атмосферой, наполненной электричеством, ее страстями, настолько сильными и мощными, что самая смерть ничего не значила перед ними, ее ненавистью к греху и соблазну, ее жаждой искупления. Как во всех произведениях Мильтона, перед нами – не люди, не характеры, а страсти или чувства – глубокие исторические страсти и чувства. А ведь характер понимается легче, интересует больше, чем отвлеченная страсть, которая требует себе отклика в читательском сердце и только в таком случае может серьезно заинтересовать и явиться живой, вдохновляющей. Что же удивительного, если современники чувствуют себя неудовлетворенными «Потерянным Раем»! Поэма не захватывает их, как не могут захватить нас до самозабвения религиозные и политические страсти пуританской Англии.

Лучшая, наиболее художественная фигура поэмы, которая производит на читателя сильное и неотразимое впечатление, – это фигура Сатаны. По моему мнению, на ней удобнее всего и легче всего проследить все достоинства и недостатки поэмы, почему я и позволю себе подробнее остановиться на ней.

Начало поэмы рисует нам Сатану, только что низверженного с неба молниями Христа: «Враг, дерзнувший восстать против Всевышнего, обремененный тяжестью поражения, девять дней и девять ночей лежал с нечестивыми своими соумышленниками в огненной пучине, вращаясь между горящими волнами и терзаясь мучениями, хотя и был бессмертен. Но казнь еще более лютая ожидала его: к жестоким страданиям присоединяется воспоминание потерянного им блаженства и мысль о бесконечной гибели. Он обращает вокруг себя мрачные взоры, и в них изображается глубокая горесть и отчаяние, смешанное с неукротимой ненавистью. Проницательное его зрение, свойственное небесным жителям, вдруг объемлет всю неизмеримую и угрюмую пустыню, страшную темницу с круглым

сводом, подобную пылающей печи. Но из пламени, наполнявшего темницу, выходил не свет, а мрачное мерцание, представлявшее очам зрелище бедствий, место скорби и смерти, где мир и тишина никогда не обитали, куда никогда не проникала надежда. То было жилище бесконечных стенаний, океан пожирающих огней, питаемых смолою, всегда кипящей, не сгорающей никогда».

Но Сатана не чувствует слабости, дух его тверд и непримирим, как прежде, когда он вел свои легионы против легионов Ангелов.

«Потеряв места сражения, – говорит он Вельзевулу, – мы не все еще потеряли. Остались во мне неумолимая злоба, неутолимая алчность мщения, непреклонная твердость, а не значит ли это, что мы еще не совсем побеждены? В этом слава моя, которую ни могущество, ни гнев Его помрачить не могут. Ныне не стану я изгибать перед Ним выю и склонять перед Ним колена, испрашивая Его милости. Мне ли воздавать честь Тому, Чье царство трепетало от моей могучей руки?»

Вы чувствуете уже, что такие страсти нуждаются в соответствующей оболочке. Мильтон немедленно рисует вам ее, не скупясь размерами:

«Огромностью своей походил Сатана на гигантов, рожденных землей, громких славой в древности, восстававших на самого Юпитера, – на гиганта Бриарея или Тигона, живших в пещере, разверзавшей свою огромную пасть близ древнего Тарса. Или, лучше, Сатана уподоблялся Левиафану, величайшему из животных, сотворенных рукою Всевышнего и обитающих в недрах океана. Часто огромное это животное покоится на морях Норвежских: кормчий малого судна, застигнутый ночью в морских пространствах, пристает к нему, как к острову (по рассказам мореплавателей), кидает якорь в чешуйчатые его ребра и укрывается за его громадой, между тем как темнота владычествует на морях и замедляет, возвращение желанного утра. Так начальник мятежников, распростертый на огненной пучине и обремененный цепями, покрывал неизмеримое пространство исполинскими своими членами».

Сатана поражает вас своей громадностью, громадностью тела и страстей, своей гордыней, для которой свобода – все. Но в нем нет низости, которая вызывала бы ваше отвращение. Если угодно, он даже велик в своей непримиримости. Приподнявшись из кипучей смолы и летая над адской бездной, «угнетая воздух громадной своей тяжестью», он гордится лишь тем, что избежал вод стигийских *не по соизволению Вечного Провидения, но как Бог, по действию собственной воли своей.* Ему можно удивляться, он

возбуждает ужас, но не ненависть, тем менее презрение. Гордым сознанием собственной силы дышат его слова, обращенные к адской бездне:

«Приветствую тебя, страшная тьма! Приветствую тебя, царство адов! Ты, преисподняя, приими в недра свои нового владыку. Он носит в себе дух, не могущий измениться ни от времени, ни от места, – дух, пребывающий в собственных недрах своих и достаточно сильный, чтобы произвести в себе самом из ада – небо, а из неба – ад. Что за нужда до того, где я нахожусь, если никогда не могу измениться? И чем я могу быть, если не первым после моего соперника, которого один лишь гром возвеличивает передо мною? Здесь, по крайней мере, мы будем свободны. Всемогущий не позавидует нам в нашем уединении, которое определено нам в жилище; он не изгонит нас отсюда! Здесь можем мы царствовать безопасно, а царствовать славно даже в аду. *Несравненно приятнее владычествовать в мрачных селениях, нежели быть рабами в небесах!*»

Литературного прародителя мильтоновского Сатаны назвать нетрудно. Это «Прометей» Эсхила. Зевс приковал его к скале, заставил коршуна ежеминутно терзать его печень, – но гордый дух Прометея не смирился. В оковах, лишенный движения, мучимый жаждой, герой Эсхила не знает, что значит примириться, что значит пойти на уступку. Он велик в гордыне своей, велик потому, что для него нет счастья без свободы, и нет наслаждения, раз оно разрешено, даже позволено. Амброзия и нектар, жизнь на высотах Олимпа не имеют для него никакой прелести, так как все это возможно лишь при безусловной покорности Зевсу, власть и каприз которого надо переносить безропотно. Прометей восстал во имя свободы духа, во имя своего гордого непримиримого «я», и в его сердце нет следа для раскаяния и сожаленья. Он слишком силен и велик для подобных чувств. Он сам устраивает для себя в сердце «из ада – небо, а из неба – ад»…

Таков и Сатана Мильтона. В нем возродился Прометей, в нем же воплотились все страсти XVII века, – те же страсти, которые кипели в сердце самого Мильтона. Разве Пим, Гампден, Кромвель не внесли своей лепты для создания Сатаны; разве пуритане, гордость и непримиримость которых заслужили прозвание «сатанинских», не вдохновляли Мильтона? Ведь те же пуритане предпочитали бросать семью и родину и скрываться в тесных трущобах Нового Света, вести жизнь первобытных дикарей, расстаться со всеми благами культурного существования, лишь бы сохранить свою свободу, которая для них была выше всего. Как и Сатана, они предпочитали совсем не спасаться, чем спасаться

по указанному образцу.

Непримиримая гордость и стремление к свободе, самомнение, не признающее над собой никакой власти, злоба, не умолкающая ни на минуту, питающаяся преследованиями и растущая от них, – ведь это все революционные страсти XVII века, – и эти же страсти наполняют душу мильтоновского Сатаны.

Но, кроме того, он еще и библейский. Мильтон не позволил себе ни на йоту отступить от текста Священного Писания, – а ведь там Сатана является совершенно другим, «лукавым» и «низким», скорее хитрым, чем умным, и без всякого признака величия. Обойти эти качества Мильтон не мог, и перед вами поэтому странное соединение Прометея с библейским змеем, лукавым, ползающим, низким и отвратительным.

Кипучая натура Сатаны, ненависть к Создателю, не дающая ему покоя, не позволяют ему надолго оставаться в бездействии. Он устраивает смотр своему воинству, «устремляет опытный взор свой на страшное ополчение, проходит мимо рядов, замечает их порядок и построение», и его надменное сердце вновь оживляется надеждою, ибо «со времени создания человека никогда еще столь многочисленная сила не собиралась под одними знаменами». Сам Сатана первенствует осанкой и величием. «Как дневное светило, восходя на мрачный и туманный небосклон, является без лучей и грозит злополучием священным владыкам, таким казался и архангел между своими сотоварищами – омраченным и грозным. Молния изрыла лицо его глубокими язвами, на его увядших ланитах начертана скорбь; но из-под нависших бровей взоры его горят неустрашимым мужеством и яростью, кипящею мщением…» Видно, что сам Мильтон на его стороне здесь, по крайней мере, так как что другое, как не сочувствие и удивление к этой побежденной, но не порабощенной силе могло заставить поэта написать хотя бы следующие строки:

«Страшны были черты его свирепого лица, но в них изображалась горесть, когда он взирал на злоумышленников, или, лучше, на приверженцев его злодеяний, – на это бесчисленное множество духов, некогда наслаждавшихся высочайшим блаженством, а ныне осужденных на вечную казнь за возмущение, низверженных с высоты эфирной, отлученных от небесного света за вероломство и оставшихся ему верными, несмотря на потерю своей славы… Так сосны в лесах и кедры на горах, когда небесный огонь нисходит на них, возносят среди опустошенной земли свои ветви, еще величественные, хотя нагие и опаленные…»

Разве перед вами библейская фигура дьявола? Разве есть что-нибудь общее между змеем-соблазнителем и этим гордым

Ариманом, этим князем тьмы, в котором даже злоба носит на себе печать величия? Но, покорный Писанию, Мильтон дает уже предчувствовать змея в своем Сатане. Пораженный силой, тот хочет идти на хитрость, на лицемерие, – и вместе с этим теряет очарование своей грандиозной фигуры. К счастью, художественное чутье не позволяет Мильтону сделать сразу такой резкий переход, и он дает еще читателю возможность насладиться грозным величием своего Сатаны-Прометея.

На адском совете решено между тем открыть мир, населенный людьми, и завоевать его. Сатана отваживается на это предприятие один из всех и выходит из ада. Он проходит страну хаоса и вечной ночи и достигает наконец светлых пределов рая. Здесь тяжелое раздумье овладевает им, минутное сожаление о потерянном мелькает в его гордой душе, он вдруг чувствует всю тяжесть свободы:

«Везде встречаю ад, куда ни бегу: этот ад во мне самом. В глубокой пропасти я вижу пропасть еще глубочайшую, разверзшую уже ужасные свои челюсти и готовую поглотить меня… О гордое сердце! Смирись, наконец, в своем высокомерии… Ужели нет места для раскаяния, ужели нет места для прощения?.. Есть оно, есть, – но в покорности, только в покорности…»

Здесь даже великий художник, вернее, только великий художник может взять свои кисти и начать рисовать. Всякий воображает себе Сатану в эту минуту бледного, со стиснутыми губами, между которыми, шипя, чуть слышно, как стон, пробирается это страшное для гордой души слово «покорность»… Какими мучительными судорогами должно было корчиться это громадное тело, тело Левиафана, при одном звуке маленького слова «покорность»…

Но возврата уже нет.

«Я сгорел бы от стыда, – продолжает князь тьмы, – явившись перед воинами, которые нетерпеливо ожидают меня… Нет! Прощайте, ужасы, прощайте, мучения… Добро уже не существует для меня».

Сатана овладел собою, и опять он перед нами величественный, гордый, непримиримый…

Мало-помалу, однако, образ Сатаны-Прометея бледнеет. Все чаще начинают раздаваться его жалобы на свое положение, все чаще приходится ему подбадривать себя. Лукавство и хитрость вытесняют понемногу величие, низкие порывы то и дело проскальзывают в сердце. Он становится лицемером, рассуждает, как софист, и вместе с этим теряет всякий интерес для читателя.

Сцена соблазна проведена Мильтоном слабо. В ней слишком

много разглагольствований, в которые разодета буква Священного Писания. Вы не видите в этой сцене жизни, так как оба действующие лица, то есть Сатана и Ева, уже изменили себе в видах непременной необходимости совершить именно такой, а не другой поступок. Впрочем, судите сами:

«Красота Евы пленяет его все более. Подобно тому, как житель многолюдного города, где воздух заражен нечистотой домов и вредными парами, – выходит поутру в поле, гуляет между веселыми хижинами земледельцев и дышит ароматами колосящихся хлебов, цветов и трав и еще более начинает восхищаться природою, когда вдруг перед его глазами является прекрасная пастушка, во взорах которой соединены все прелести и все наслаждения, – так и змей почувствовал неизъяснимую радость при виде подруги Адамовой, уединившейся с самого утра в это цветущее и тихое убежище. Ее небесная осанка, ее кротость, невинность, все ее движения, сопровождаемые невыразимой прелестью, смиряют на несколько минут злобу врага и очаровывают его до того, что он забывает лютое свое намерение». В этом кратковременном промежутке восторга виновник зла делается как бы чуждым зависти, мщения и ненависти. Но огонь адской злобы немедленно прекращает его восхищение, он чувствует сильнейшее мучение, и ненависть пробуждается в нем с новою яростью.

«Куда влечешь меня, сладкая мечта! – восклицает он. – Ужели я забыл, зачем прибыл сюда? Не любовь, не желание наслаждений привели меня в эти места; нет, – одна ненависть руководила мною, и единственной целью моей было разрушить все удовольствия, которые уже *не* существуют для меня! Итак, воспользуемся благоприятным случаем: вот та жена, которую искал я; она здесь одна, без мужа, который хотя и произошел из праха земного, однако же сила его, мужество и высокий разум представляют мне в нем опасного соперника. Он не подвержен уязвлению, – но я лишен этого преимущества. До такой степени страдания сделали непохожим меня на то существо, каким находился я в небе… Как прекрасна Ева! Как достойна любви ее небесная красота!..»

Читатель согласится, что для Прометея на поле решительной битвы такие рассуждения едва ли приличны. Он так ослабел и умалился, что собственными словами старается поддержать свое мужество. Гордый дух свободы готов бы был, кажется, в эту минуту мирно зажить в раю, любуясь небесной красотой прародительницы!..

Место не позволяет мне следить далее за сценой соблазна. Припомнив соответствующие библейские страницы, читатель

вместе с тем лично представит себе ту же сцену у Мильтона. Словесные же прикрасы едва ли интересны, и только изредка опять попадаются поэтические перлы, достойные Гомера или Шекспира. Но ясно, что вдохновение, подчинившись букве Писания, напрасно старается освободиться от стесняющих его оков. В этой бесплодной борьбе даже гений Мильтона оказывается бессильным.

Остановлюсь еще на другом характере из «Потерянного Рая», который, как и характер Сатаны, обусловливает своей прелестью лучшие места поэмы. Читатель догадывается, что я имею в виду нашу прародительницу Еву. Слишком уже добродетельная и оттого немного педантичная, она, однако, напоминает лучшие женские фигуры английской драмы, ее Миранд, Порций, Джульетт, Дездемон, Имоген… В ней столько нежности, невинности, чистоты и женственности, что «все твари улыбаются, смотря на нее, и стараются заслужить ее улыбку, ее взор, ее ласку…» В поэме Мильтона мы видим то же самое, что в большинстве лучших английских драм эпохи Возрождения. И здесь женщина-Ева более женственна, а мужчина-Сатана более мужествен, чем где-нибудь. Оба пола доходят каждый до своего крайнего выражения: один – в отношении смелости, духа предприимчивости и сопротивления, воинственного и повелительного характера; другая – в отношении кротости, самоотвержения, терпения, неистощимой привязанности. В четвертой, пятой и шестой песнях поэмы Ева является перед вами одним из самых красивых, душистых цветков английского гинекея. Подобный характер полностью развился в Англии; он, говорит Тэн, неизвестен в других странах, особенно во Франции. Здесь, в Англии, женщина желает отдаваться безвозвратно, считает своей славой и долгом повиноваться, прощать, обожать, не желая ничего иного, как только сливаться и погружаться с каждым днем все более в того, кого избрала она себе добровольно и навсегда. «В английской расе, – пишет Тэн, – душа первобытна и серьезна. Девственная стыдливость сохраняется здесь у женщин дольше, чем где-нибудь. Они не так скоро утрачивают уважение, не так скоро взвешивают достоинства и характеры, они не так быстро разгадывают дурное и раскусывают мужей. У них нет ясности и смелости мысли, самоуверенности, раннего развития, которые делают у нас, во Франции, в шесть месяцев из девушки интриганку и салонную царицу. Замкнутая жизнь и повиновение для них гораздо легче. Более податливые и домоседки, они в то же время сосредоточеннее, способнее к внутреннему размышлению, к созерцанию благородной мечты, называемой долгом, которая пробуждается в мужчине лишь тогда, когда

успокаиваются чувства. Они вовсе не соблазняются сладострастной негой, дышащей в странах юга в климате, в небе, во всей окружающей природе, разрушающей возможное противодействие, заставляющей смотреть на лишение, как на обман, и на добродетель, как на теорию. Они могут довольствоваться тусклыми ощущениями, обходиться без возбуждений, переносить скуку и в однообразии размеренной по часам жизни опираться на самих себя, повиноваться чистой идее, употреблять все силы сердца на украшение своего нравственного благородства. Подкрепляя себя таким образом сознанием невинности, совестью, они вносят в любовь глубокое и честное чувство, отбрасывают всякое тщеславие, кокетство, уловки, никогда не лгут и не жеманятся…»

Такова должна была выйти и Ева по первоначальному замыслу Мильтона, такой она и является на самом деле в четвертой, пятой и шестой песнях, – но затем фигура ее и характер изменяются согласно библейскому тексту, изменяются по совершенно случайному поводу, и, утеряв свою художественную стройность, Ева претерпевает ту же самую метаморфозу, что и Сатана.

Мне не раз уже приходилось указывать читателю, что «Потерянный Рай» Мильтона заключает в себе все политические и нравственные убеждения своего творца и всю его практическую мудрость. Здесь, в поэме, мы то и дело встречаем излюбленные мысли Мильтона о государственном устройстве, о семейной жизни, его советы правителю, его требования к жене и детям, – словом, перед нами в сжатом виде – содержание всех его предыдущих работ, его трактатов, исследований, памфлетов. Чтобы узнать его взгляды на семью и семейную жизнь, нам стоит только раскрыть четвертую песнь его «Потерянного Рая» и внимательно перечесть следующую сцену:

«Тогда подруга его, Ева, украшенная всеми прелестями и совершенствами, отвечала ему (Адаму): „Виновник моего бытия и мой глава! Покоряюсь без прекословия воле твоей; так угодно Творцу: Бог – твой закон, а ты – мой. *Уметь повиноваться – вот для жены самая верная наука, чтобы быть счастливою и достопочтенною.* Беседуя с тобою, забываю я течение времени. Одинаково приятны для меня все дни и все часы: прохлада утреннего рассвета освежает сердце мое, восход солнца при согласном пении тысячи птиц веселит мой взор и слух. Я восхищаюсь, когда солнце, отверзая восточные врата, озаряет наше полное утех жилище первыми своими лучами, блистающими на росе, плодах, цветах и зелени; испарения земли после тихого дождя услаждают мое обоняние, любезна для меня

тишина наступающего вечера, любезно безмолвие ночи, торжественное пение соловья, величавое течение луны и блеск горящих огней, составляющих небесную славу. Все это пленяет чувства мои. Но ни прохлада зари, распускающей свою яркую розу при сладостном пении птиц, ни восхождение солнца над нашим радостным жилищем, ни его лучи, играющие на росе, цветах и зелени, ни благоухание зелени после благотворного дождя, ни тишина засыпающего вечера, ни безмолвие ночи, ни торжественный голос соловья, ни величие луны, ни сияние звезд, ни прогулка при их мерцающем свете не принесли бы Еве *без тебя* никакого удовольствия“.»

Полная покорность мужу, безмятежное состояние духа, довольного всем и за все благодарящего, девственное целомудрие помыслов украшают героиню Мильтона, нашу «общую прародительницу», в которой он и воплотил свой идеал женщины. Посмотрите, как покорно выслушивает Ева все наставления и проповеди Адама, как легко признает она его превосходство, весело занимается хозяйством и не претендует играть иной роли, кроме второй и подчиненной. Всякую речь свою она начинает словами: «О ты, для которого и от которого я сотворена», или: «Ты, без которого существование мое не имело бы никакой цели на земле», или: «Ты, мой путеводитель и глава» и так далее. Каждое слово Адама для нее закон. Его мудрость для нее несомненна, и она не раз говорит ему: «Слова, произнесенные тобою, справедливы и мудры». На взаимной любви и подчинении жены и основана счастливая жизнь супругов. Увлекаясь ею, Мильтон, как бы забывая, что он описывает райское блаженство и допотопные времена, переносит нас то и дело в спокойную обстановку пуританской семьи XVII века.

Вот небольшая сцена: Рафаил сходит с неба и пользуется гостеприимством Адама. Почтительно и радостно принимает Адам высокого гостя. А Ева спешит заняться нужными приготовлениями. Медленно рассуждает она, каких набрать плодов и как предложить их, чтобы усладить вкус приятной переменой. Она срывает с нежных ветвей лучшие плоды всякого рода, ныне приносимые землей, плодоносной матерью, лишь в восточной и западной Индии, в лесах Азии и Понта, на берегах африканских и том острове, где царствовал Алкиной. Щедрая рука праматери покрывает трапезу этими плодами, облеченными сладкой кожицею, или шероховатой корой, или колючим, ароматным покровом. Для утоления жажды выжимает она из виноградных гроздей благодатную жидкость. Сладостный сок течет из различных ягод, и сосуды простые, но чистые, наполняются вкусным миндальным молоком; наконец, усыпает

землю розами и другими благовонными цветами. «За столом прислуживает она сама… Адам и Ангел воссели за трапезу и начали вкушать. Ева, покрытая одними волосами, служила им при трапезе, разливая по чашам сладостный напиток… О невинность, достойная райского жилища!» Насытившись, хозяин и высокий гость занялись разговорами. Ева скромно сидела и слушала; когда же Адам затронул слишком глубокомысленный вопрос, она «приметила это и встала со своего места с такой величественной скромностью, с такой невыразимой прелестью, которые даются человеку лишь добродетелью и целомудрием. Она направила стопы свои среди плодов и цветов, которые улыбались ей и пышно распускались от прикосновения рук ее. Прекрасная прародительница наша удалилась не потому, что беседа не нравилась ей, – но она хотела насладиться повествованием из уст самого Адама, когда останется с ним наедине: ведь решение высоких вопросов он перемешивал с нежнейшими ласками. О, где возможно встретить ныне столь блаженную чету, соединенную таким крепким союзом взаимной любви и почтения!»

Целомудренная любовь доставляет супругам высочайшие из земных наслаждений: «Придя ко входу сельского и мирного своего жилища и возведя очи к небу, прародители поклонились Богу, сотворившему беспредельную твердь, воздух, землю, светоносный шар луны и полюс, усеянный звездами». «Ты, – молились они, – сотворил преходящий день, который провели мы в трудах, Тобою нам предписанных и приятных для нас при взаимной помощи и любви, соединяющей сердца наши. Ты увенчал наше блаженство, поселив нас в прекраснейшем вертограде. Обилие щедрот Твоих превосходит наши нужды; мы не можем пользоваться всеми дарами Твоими, но Ты обещал даровать нам племя, которое наполнит этот мир и вместе с нами прославит безмерную благость Твою как в час пробуждения, так и теперь, когда ночь призывает нас ко сну – дару Твоей мудрости…» «По окончании этой чистой и единодушной молитвы, произнесенной без всяких обрядов, супруги, держа друг друга за руки, вошли в кущу, скрылись в самом уединенном месте и возлегли на ложе. Удалитесь вы, порицающие чистейшее, законнейшее наслаждение, которое освящено благословением небесным! Творец повелевает населять землю. Кто же может возбранить наслаждения чистой любви?»

Здесь торжественный гимн выливается из-под пера Мильтона во славу этой чистой любви.

«Благословляю тебя, – восклицает он, – супружеская любовь, истинный источник жизни! Бесстыдный сластолюбец изгнан был

Тобою из общества людей и принужден скитаться между животными! Ты одна освещаешь и укрепляешь союз крови и ты первая поселила нежность в сердцах родителей, детей и братии. О, неиссякаемый источник семейного счастья! Горе тому, кто изображает тебя красками порока или стыда и почитает тебя недостойным для человека. Ложе твое нескверно! И патриархи минувших веков, и благочестивые мужи наших времен утоляли любовную жажду свою чистыми твоими водами! Для тебя, супружеская жизнь, любовь имеет лишь одни золотые стрелы, возжигает неугасимый светильник радости и парит над тобой, мерно рассекая воздух пурпуровыми крылами. Ты таишься под сенью их. С тобой одной любовь царствует и наслаждается. От тебя удалены лживые улыбки наемной красавицы, скучные и холодные ласки; от тебя удалены отвратительное сладострастие пышных чертогов, шумные пляски – личина глупости, ночные пиршества и безумные песни, которыми легкомысленный юноша увеселяет гордую прелестницу, заслуживающую одно презрение…»

После этого величественного гимна Мильтон возвращается к Адаму и Еве: «Супруги предались сну при пении птиц; цветущий свод оросил их благоуханием роз, оживших от прохлады утренней зари. Почивай же спокойно, счастливая чета!..»

О других действующих лицах поэмы говорить не приходится. Вместо прародителя Адама, как давно уже совершенно верно замечено критикой, вышел благопристойный джентльмен XVII века, с пуританским складом мыслей, несколько резонер, которому недостает лишь костюма, чтобы отправиться в клуб или парламент. Неудачны фигуры Ангелов и самого Бога-Отца; лишь внешней притягательной силой и запасом благоразумных высоконравственных сентенций отличается Искупитель в «Возвращенном Рае». Недостатки эти настолько очевидны, что бросаются в глаза каждому: в Мильтоне моралист то и дело побеждает художника и лишь в некоторых особо счастливых местах оба согласно идут рука об руку. Но все же 200 с лишним лет не уменьшили славы Мильтона как поэта, а увеличили ее, и несомненно, что в XIX веке у «Потерянного Рая» гораздо более читателей, чем в XVII или XVIII. Лишь невообразимые трудности, стоящие перед переводчиками, не позволяют «Потерянному Раю» добиться самого широкого всемирного распространения, но даже и несовершенные, иногда прямо никуда негодные переводы читаются не без усердия, – как, например, у нас, в России. Причины такого громадного исторического успеха поэмы мы и постараемся выяснить.

Не буду долго останавливаться на том слишком очевидном

обстоятельстве, что «Потерянный Рай» заключает в себе массу отдельных мест, полных поэтической силы и красоты. Откройте любую страницу, и при малейшем внимании вы найдете в ней или образ, такой рельефный, что он просится на полотно, или описание природы, расстилающееся перед вами как величавый пейзаж, или глубокую мысль, невольно заставляющую призадуматься. Позволю себе привести небольшую картину солнечного заката. Кстати, недурен и русский стихотворный перевод:

Садилось солнце. Золото и пурпур
Залили облака, стоявшие толпой
Вокруг его престола на закате…
Вот вечер наступил, и серый сумрак
На все набросил свой таинственный покров.
Вослед ему молчание спешило,
И зверь, и птица удалились на покой:
Одни – к своим муравчатым постелям,
Другие – в гнезда… Только соловей
Всю ночь не спал и песню пел любви,
А восхищенное безмолвие ему внимало.
И вскоре свод небесный засиял
Живыми яхонтами. Геспер,
Вождь звездной армии, яснее всех блистал,
Пока царица ночи, томная луна,
Во всем величии из облаков не вышла
И пред ее чистейшим светом
Свет всякий не померк, когда она
Все серебристой мантией одела…

Подобные перлы украшают чуть ли не каждую страницу «Потерянного Рая», и задумчивая, спокойная красота описаний природы у Мильтона так же освещает душу человеческую, как и сама природа.

Но все же это частности. Поставьте рядом с ними главный недостаток поэмы – отсутствие героя, на котором читатель мог бы сосредоточить свой интерес, и вы увидите, что, как ни хороши отдельные места, они мало могли бы помочь горю. «Мало могли бы», говорю, если бы не одно обстоятельство, очень важное.

Героя-*лица* в поэме действительно нет, ибо нельзя считать героями выведенные в поэме лица. Гордая и великолепная фигура Сатаны не выдержана, как не выдержана фигура и кроткой Евы. Но все же я думаю, что герой в поэме есть, а если мы его не видим, то лишь потому, что ищем не там, где следует. Правда,

этот герой слишком отвлеченный, духовный, но вместе с тем несомненный и притягательный не меньше Ахиллеса, или Генриха IV, или Энея. Имя ему – религиозный героизм, религиозные и политические страсти XVII века, геройский дух пуританской Англии. Ни Кромвель, ни Пим, ни Гампден, ни пуритане ни разу не названы на протяжении всей поэмы, нигде нет даже прямых указаний на волнения XVII века, и все же вы чувствуете, что весь интерес «Потерянного Рая» в них-то и заключается, что, неназванные, они присутствуют на каждой странице, что везде – их чувства, их мысли, их настроение.

Разумеется, перед нами не та пуританская Англия, которую мы знаем из истории. Мы не видим ее мелочности, ханжества, практических стремлений; она является перед нами очищенная от земной грязи, от всех житейских столкновений, которые всегда заставляли все великое и славное размениваться на мелочи. Мильтон взял свое время лишь в высшем его проявлении – в проявлении *героизма.* Как поэт он имел на это полное право.

Только героизм и вдохновляет его. Не знаю, нужно ли анализировать это чувство, так как мне положительно трудно представить себе человека, который не был бы знаком хотя бы по отдельным минутам с вдохновением. Кто хотя бы один только раз в жизни не отказывался от служения своему *я,* не переставал чувствовать страха перед завтрашним днем – этого надоедливого, мучительного страха за свою собственную шкуру, – и переставал не по легкомыслию, а по сознанию, что есть в жизни что-то большое, важное, чему следовало бы отдать ее всю, чему хорошо было бы отдать ее? Но ведь сущность героизма и заключается в подчинении своей личности этому большому и важному, и такому подчинению, которое преодолевает страх даже перед смертью… Божество, Вечная Истина, долженствующая восторжествовать на земле, – вот что делало и Мильтона, и английских пуритан героями. Оттого-то «Потерянный Рай» и может быть назван «религиозной поэмой», так как его вдохновение вытекает из религиозного героизма. Поэзия становится гимном. «Да прославят Его, – восклицает Мильтон в религиозном экстазе, – Его первого и последнего, составляющего начало, средину и конец!.. О, прекраснейшая из звезд, последняя спутница ночи и подруга утренней зари, ты, которая венчаешь настоящей диадемой улыбающееся утро, прославляй Создателя нашего и в то время, как распускающая свои огненные лепестки заря сияет на горизонте! Ты, солнце, око и душа беспредельного мира, познай в Нем владыку, несравненно большего тебя, разливай славу Его в сиянии и восхваляй Его блеском своим, когда восстаешь из лона морей, когда восходишь в зенит на средину

неба или в вечерних водах заканчиваешь лучезарный путь свой!»

В этой безмерной, несравненной Славе Божества, Его Величии исчезает человек, а если и сияет, то лишь отраженным блеском.

Вернемся, однако, к героизму. Он, создавший поэму, наложил на свое детище неизгладимый отпечаток. Вы чувствуете его уже в слоге, в стиле. Этот стиль – всегда несколько приподнятый, величаво-торжественный, как звон колоколов большого собора, как звуки великолепного органа, воспроизводящего псалмы, – в «Потерянном Рае» приобретает особенную силу, определенность, энергию. Не надо обманываться внешностью. Перед вами обыкновенно длинные закругленные фразы, текущие ровно, как волны большой реки. Но за гладкой зеркальной поверхностью скрывается неизведанная глубина, непреоборимая сила, которая вдребезги разнесет все препятствия, которые только встретятся ей на дороге. Так оно и выходит на самом деле. Даже отдаленный намек на папство выводит Мильтона из себя, и его речь становится бурной и негодующей, как водопад.

Но, бурная или спокойная, речь Мильтона всегда величава. В. двадцати тысячах строк поэмы нет ни одной шутки, нет даже улыбки, которая развеселила бы вас своей наивностью. Вы в храме, и ищете здесь лишь то, что может дать храм со своим куполом, уходящим высоко-высоко в небо, и своими тяжелыми мраморными колоннами, со страшной картиной ада налево, с залитым светом и золотом изображением райской жизни направо.

Слог, повторяю, величав, героичен. Такими периодами, полными скрытой силы, с такой вдохновенной серьезностью человек может говорить лишь тогда, когда перед ним дело более важное, чем сама жизнь. «Смерть ничтожна!» – вот впечатление, которое остается у вас после лучших мест поэмы, и вы долго-долго не можете отрешиться от него.

Воображение Мильтона, настроенное на высокий лад героическими стремлениями сердца, то и дело покидает землю, чтобы подняться на небеса или бросить полный ужаса взгляд в бездны преисподней. Обычные картины не удовлетворяют его. Он рвется из пределов возможного, существующего; земля тесна для него. Безмерные образы – его пища…

Вот картина мироздания:
Они стояли на берегу небесной сферы,
Взирая на ширь необозримой бездны,
Как море бурной, мрачной, пустынной,
Волнуемой сверху до дна яростным ветром.
……
Волны вздымались по ней, будто горы,

И силились воспрянуть до самого неба, стремились
Сбить и смешать оба полюса с центром.
И сказало тогда всеиждущее Слово:
– Смолкните вы, мятежные волны, и ты,
Бездна, смирись! Конец вашим раздорам пришел!..
…….
– Да будет свет! – рек Бог, и по его глаголу
Эфирный свет, начало чистейшее между стихий,
Стихия первая, из бездны брызнул внезапно,
Потом сомкнулся в лучезарное облако и начал
Воздушную мглу обнимать с родного востока.
……..
Земля образовалась, но, как недозрелый зародыш,
В оболочке свернувшийся, во чреве вод лежала.
Ее со всех сторон окружал океан, деятельный, широкий.
Теплою плодотворною влагой смягчая
Ее шар, он в броженье приводил великую матерь,
Дабы зачала она, напитанная живыми соками…
И сказал тогда Бог: – Теперь соберитесь вы, воды,
Под твердью в одно место, и да явится суша! —
В то же мгновение горы громадные из воды появились,
Приподняли до облаков широкие голые хребты свои,
Меж тем как их сумрачные вершины стремились к небу.
И как высоко поднялись округленные холмы,
Точно так же низко опустилось вместительное
и глубокое,
Но уже опорожненное лоно вод.
Торопливо и весело спешили воды скатиться в русло,
Как капли, разбросанные по сухой пыли,
Когда стремятся они принять шаровидную форму.

Чтобы быть более понятным русскому читателю, скажу, что родственным гением Мильтону по силе и грандиозности воображения является наш Державин.

* * *

Перейдем к характеристике Мильтона как личности и здесь отметим прежде всего основную черту его характера. Высшее бесстрашие заключается в том, чтобы жить мужественно, и в этом отношении мало кто может сравниться с Джоном Мильтоном. Только с душой, не знающей чувства страха, можно было

спокойно перенести столько превратностей жизни, слепоту, семейные неурядицы, одинокую старость среди насмешек и презрения ликующих врагов. Мильтон много получил от природы: она дала ему прекрасную наружность, вызывавшую невольное доверие и уважение, дала ему проницательный ум, поэтический дар, равняющий его с высочайшими героями слова, и правдивое сердце, не знавшее никогда ни лжи, ни соблазнов, порождаемых ложью. Он не растерял ни одного из данных ему талантов и смело оставался до конца дней своих каким был, не обращая внимания, как относятся к сущности его натуры окружающие. Он не умел казаться, хотя бы его прямота несла за собой одни страдания и угнетения. К его гордой, мужественной душе, не умевшей склоняться перед обстоятельствами, можно подойти смело и без боязни. Есть гении, удивляющие нас величием своего творчества и ничтожеством своей обыденной жизни. Мильтон не знал такого противоречия: его дипломатическая переписка, его отношения к людям дышат той же правдивостью, что и наиболее вдохновенные страницы «Потерянного Рая». Жизнь меняла его, – но эти изменения никогда не являлись результатом расчета или посторонних соображений. Сначала перед нами – прекрасный образец просвещенного гуманиста, восторгающегося древностью, увлеченного тем, что есть вечного и великого в этой древности: благородством греческой драмы, героической искренностью и правдивостью Демосфена, суровым мужеством римлян и страшной ненавистью Тацита. Но жизнь внезапно меняет свое русло и требует от человека гражданской честности. Еще накануне она позволяла каждому вести тихую и скромную жизнь, мечтать о справедливости, довольствоваться личным благополучием; но настал кризис, заставивший всякого выложить напоказ все, что в нем есть, раскрыть свои сокровеннейшие думы и заявить перед всеми, что есть в нем. Мильтон, не задумываясь, бросился туда, где шла самая ожесточенная борьба, хотя и мудрейшие не могли бы предсказать, чем кончится эта борьба и не окажутся ли сегодняшние победители где-нибудь в подземелье завтра или послезавтра. Но никакая перспектива не могла испугать его, раз дело шло о том, что он считал за истину. Он расстался на долгие годы со своими излюбленными занятиями, потерял зрение, и – что же? – ни слова отчаяния, ни строчки раскаяния или сожаления не вырвалось из его груди. Чем дальше, тем больше проникался он той мыслью, что истинная красота немыслима без истины и справедливости. Он не пошел обычной дорогой поэта, не удовлетворился творчеством и образами, он не воспевал добродетели – он *был* добродетелен. Его поэтический

дар, его нравственное «целомудрие», его религиозное воодушевление не знали противоречий и борьбы. Он не бросался на колена перед Господом лишь для того, чтобы излить страдания своей усталой, измученной жизнью и собственными грехами души, он не любил добродетели как лучезарного образа, посещающего человека лишь в редкие минуты просветления, – его слово и его жизнь, его чувства и поступки были всегда тем же самым. Он по самой природе своей был предназначен для того, чтобы объяснить человечеству, где же и в чем же заключается не всегда ясная, а иногда и совершенно не ясная связь между красотой и правдой, и каким образом можно служить тому и другому. Героизм – вот разгадка вопроса: геройский поступок всегда прекрасен и всегда правдив. Лучшее сравнение для души Мильтона – это море, то спокойно и величаво отдыхающее при закате солнца, то бурное и гневное, разбивающее скалы. Чем сильнее взволнуется оно, тем лучшие перлы выбросит на берег. Эти перлы целыми грудами мы находим еще и теперь в «Потерянном Рае». Читатель знает его, как знает он и «Комуса». Пусть сравнит он оба эти произведения. И там, и здесь мы – на высотах поэтического творчества, но если в «Комусе» нас привлекает *уважение* к добродетели как закону человеческой жизни, то в «Потерянном Рае» нас волнует *страстное одушевление* перед Правдой, которую Бог, как учил Мильтон, приказал людям воплотить в своей жизни. Ко всему великому поэт чувствовал неотразимое влечение. Он любит своей мыслью подниматься на небо, он величав даже в своей ненависти. Забота о себе, о своем достатке, о спокойной старости не тревожила его никогда; он был уже седым стариком с царственными кудрями, с походкой вождя, когда ненадолго (к счастью) закрылись перед ним двери темницы. И здесь он не упал духом, и здесь его натура оказалась из лучшего металла, самоуверенная и гордая, как может быть гордой и самоуверенной лишь воплощенная правота. Он никогда не искал славы, не заботился о ней, не знал мелкого тщеславия и гордости, не знал распрей самолюбия. *Другая* слава привлекала его, и он красноречиво говорит о ней такими словами: «Я не устремлюсь за мечтой, обольстительной по наружности; сияние земной славы не в состоянии ослепить меня. Честолюбие плохо вознаграждает тех, кто предается его власти. И что такое громкая слава, как не народные рукоплескания, сопровождаемые шумом зависти? Что за народ, расположения которого так сильно домогаются? Истинно славным можно назвать лишь того, кто имеет похвалу от Бога, старается быть праведным лишь перед его очами, как делал это Иов». Если нами и не может быть понято во всей его полноте мощное религиозное одушевление людей XVI

века, то все же никогда не должны мы забывать, что тогда-то оно стояло на первом плане, было истинным руководителем как Мильтона, так и тысяч его современников, начиная с созерцательного Беньяна, кончая такими практиками, как Кромвель. Эта религиозность заканчивает и объединяет портрет Мильтона, ибо все исходило из нее и все служило ей.

Слава Мильтона среди современников была далеко ниже той, которой он пользуется в XIX веке. Литературная известность приобреталась тогда с трудом и ограничивалась лишь незначительным кружком избранных. XVIII век, по крайней мере в лице Вольтера, осудил его, как осудил он и других представителей пуританской Англии. Наш век оценил великого поэта по достоинству. Правда, он подходит к нему с некоторым недоумением, как к человеку другой породы, поражающему грандиозностью своих размеров, напряженностью своего религиозного вдохновения, величавостью своих образов и воображением, стремящимся в небесные сферы. Но вместе с этим мы во многом чувствуем и близость свою к Мильтону, как к человеку нового времени. «Случай, – говорит Тэн, – поставил его на рубеже двух эпох, и он от обеих заимствует их основной характер, как река, которая, протекая между двумя различными пластами, окрашивает воды свои цветом того и другого. Поэт и протестант, он наследовал от оканчивающейся эпохи свободное поэтическое вдохновение, а от наступающей – суровую политическую религию. Он употребил первое на служение второму и пел о новых предметах с прежним вдохновением. В его произведении узнаешь две Англии: одну – страстную поклонницу прекрасного, отдающуюся движениям необузданной чувствительности и фантасмагориям чистого воображения, не признающую других правил кроме естественных побуждений, другой религии кроме натуральных верований, добровольно языческую и часто безнравственную – словом, ту, какую показали нам Бен Джонсон, Бомон, Флетчер, Шекспир, Спенсер и вся многочисленная фаланга поэтов, появлявшихся на здешней почве в продолжение пятидесяти лет; другую – основательницу практической религии, лишенную метафизической способности, погруженную всецело в политику, поклоняющуюся правилу, склонную к мнениям умеренным, здоровым, утилитарным, узким; хвалящую семейные добродетели, вооружившуюся строгими нравоучительными сентенциями и закоченевшую в этих сентенциях, погрузившуюся в прозу, достигшую высшей степени могущества, богатства и свободы. В этом отношении его слог и идеи представляются литературными памятниками; они сосредоточивают в себе и напоминают прошлое, опережают

будущее, так что в пределах одного произведения можно раскрыть события и чувства многих веков и целого народа».

Мощное впечатление нравственной личности Мильтона прекрасно передано в стихах Вордсворта, которые я в заключение и привожу в переводе К. Бальмонта:

Мильтон! Зачем тебя меж нами нет?
Британии ты нужен в дни паденья!
Везде заветов прошлого забвенье,
Погибла честь, померкнул правды свет!
Родимый край под гнетом тяжких бед,
В оковах лжи, тоски, ожесточенья.
О! Пробуди в нас чистые стремленья!
Стряхни могильный сон, восстань, поэт!
Твоя душа была звездой блестящей,
Твой голос был, как светлый вал морской,
Могучий и свободный, и звенящий;
Ты твердо шел житейскою тропой.
Будь вновь для нас зарею восходящей,
Будь факелом над смутною толпой!..

Источники

1. *Masson.* The life of John Milton. London, 1859.

2. *Тэн.* История английской литературы.

3. Сочинения по истории английской революции: *Гизо, Карлейля, Гардинера, Ранке* и др.

4. *Macaulay's.* Essays. Vol. I.

5. Сочинения самого *Мильтона,* наполненные автобиографическими данными. Некоторые из этих сочинений, особенно «Потерянный Рай» и «Возвращенный Рай», издавались бессчетное множество раз.